



ФЕДОР УГЛОВ
СЕРДЦЕ ХИРУРГА

ОРИГИНАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

Медицинский бестселлер (АСТ)

Федор УГЛОВ
Сердце хирурга

«Издательство АСТ»

2018

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6

Углов Ф. Г.

Сердце хирурга / Ф. Г. Углов — «Издательство АСТ»,
2018 — (Медицинский бестселлер (АСТ))

ISBN 978-5-17-107781-5

Перед вами уникальное издание – лучший медицинский роман XX века, написанный задолго до появления интереса к медицинским сериалам и книгам. Это реальный дневник врача, в котором правда все – от первого до последнего слова. Академик Федор Углов был не только великим хирургом XX столетия, но и талантливым писателем, оставившим после себя богатейшее научное и литературное наследие. Он прожил очень бурную и долгую жизнь, до последних дней сохранил здоровье, ясный ум и силы. Федор Углов стал единственным в мире хирургом, проводившим операции в возрасте ста лет! О своей судьбе – простого деревенского паренька, больше всего хотевшего выучиться медицине, а затем благодаря невероятному трудолюбию и упорству ставшего одним из ведущих хирургов в мире, и рассказывает Федор Углов. Рассказывает просто, без прикрас и самолюбования. Эта книга – прежде всего о любви к своему делу, сложнейшей профессии хирурга. Захватывающее описание операций, сложных случаев, загадочных диагнозов. Оторваться от историй из практики доктора Углова невозможно, потому что они интереснее и правдивее любого детектива. Закрученный сюжет, мастерство в построении фабулы, кульминация и развязка – это действительно классика. В настоящем издании публикуется послесловие «Как стать хорошим хирургом», которое не потеряло актуальности до сих пор и станет верным руководством в жизни каждого студента-медика и начинающего врача. В послесловии Федор Григорьевич делится своим многолетним опытом, дает наставления молодым врачам.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-107781-5

© Углов Ф. Г., 2018
© Издательство АСТ, 2018

Содержание

Глава 1	7
Глава 2	24
Глава 3	36
Глава 4	40
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Федор Углов

Сердце хирурга. Оригинальное издание

© Фонд сохранения и развития научного, литературного и общественного наследия академика Ф.Г. Углова

© ООО «Издательство АСТ», 2018

Глава 1

Роковой случай

Сынюк, делай людям добро.

Мама

Хирург должен иметь глаз орла,

Силу льва, а сердце женщины.

Старинная поговорка

Бывает так: внезапный случай – и ты уже зависишь от него, он заставляет тебя принять неожиданное решение.

... То было на редкость ясное весеннее утро. После бессонной ночи, проведенной у койки тяжелого больного, оперированного мною, я возвращался домой. Дышалось легко, свободно, и хоть солнце еще не взошло, пряталось где-то за высокими домами – оно угадывалось в игре золотистых бликов, пробегающих по оконным стеклам, по тонкому утреннему ледку лужиц на асфальте.

Как волновал он, послеблокадный Ленинград!

Радостно было видеть бодрые, повеселевшие лица прохожих – без оружия, без противогазных сумок. Надписи на стенах зданий – с указателями ближайших бомбоубежищ, с предупреждением об угрозе артобстрела – были уже вчерашним днем, тускнели, не подновляемые за ненадобностью краской, и со спокойной деловитостью бежали по улицам автофургоны, помеченные такими будничными и такими дорогими словами: «Хлеб», «Продукты», «Овощи»... Где-то на втором этаже играли гаммы. Приподнято и, как мне казалось, с каким-то освобожденным чувством. Я остановился послушать, потом пошел дальше...

У трамвайной стрелки пожилая женщина в брезентовой куртке, по виду заводская работница или строитель, удерживала за плечи рыдающую девушку, а та вырывалась и сквозь слезы твердила: «Нет, нет, нет!..»

Я подошел к ним, спросил, не нужна ли помощь – я врач...

– Никто не поможет мне, никто! – крикнула девушка, и меня поразили тоска и отрешенность в ее глазах.

– Какая глупая эта девчонка, какая сумасшедшая. Ведь легла бы под трамвай, не окажись я на пустынной улице в этот момент, не помешай ей! – Женщина ругалась и в то же время успокаивала девушку, говорила, что теперь, когда одолели войну, ничего невозможного нет, можно поправить любую беду...

– Да, да! – поддержал я, хотя по сбивчивым словам девушки, по затрудненному и специфическому дыханию и по гнилостному запаху изо рта уже понял, что толкнуло ее на такую ужасную попытку – покончить с собой; понял всю безнадежность состояния ее здоровья и все же сказал твердо: «Не делайте глупостей, мы вас вылечим!»

Назвал адрес нашей клиники – Института усовершенствования врачей, назначил время, когда прийти.

На что надеялся я, обещая незнакомой мне тогда Оле Виноградовой исцеление, избавление от невыносимых мук? Утешить ее, удержать от необдуманного поступка, – это было, пожалуй, единственное желание. Ведь мы еще не делали операций, которые могли бы вылечить Олю, мы только нащупывали пути к ним.

Когда же девушка на следующий день пришла к нам, мы, подтвердив для себя клинически серьезность ее болезни, услышали горький рассказ-признание...

* * *

Какой может быть интерес к жизни, когда новый день встречаешь в страхе? Из месяца в месяц, из года в год...

Накануне Оля добилась приема у заведующей терапевтическим отделением районной поликлиники.

Та встретила холодно. Она понимала, что ничем не может помочь и, наверное, от сознания собственного бессилия говорила резко, с досадой:

– Эффективных методов лечения вашей болезни нет. Но все, чем современная медицина располагает, вам назначим...

– Плохо мне, – еле сдерживая слезы, сказала Оля. – Это же невозможно – заживо гнить и неизвестно чего ждать! Ехала к вам, раскашлялась в трамвае – все сразу отхлынуло от меня. Такой запах! И вы вот – я же вижу – отворачиваетесь... Как жить?

– Будьте терпеливы, – сказала заведующая, – вас, повторяю, лечат.

– А мне все хуже!

– А вы что ж – на чудо надеетесь?

Заведующая спросила раздраженно и тут же, стараясь смягчить свой безжалостный вопрос, поспешно добавила:

– Успокойтесь, Виноградова. Ступайте к своему участковому врачу – она поможет, сделает все, что в ее силах...

Домой Оля возвращалась, не видя дороги, не замечая ни встречных людей, ни звонкой весенней капли, ни поголубевшего, как бы раздвинувшегося от этой голубизны неба. Ей двадцать второй год, а вокруг – пустота. Эта проклятая болезнь! Она убивает не только организм; она убила все былые надежды, мечты – об институте, счастливых днях, заполненных работой, отдыхом, когда можно пойти в театр или с компанией друзей уехать за город, в лес... Да только ли это! Как многообразна, содержательна жизнь... для других, но не для нее! Одна лишь Надя, любимая сестричка, утешительница, рядом...

Но почему же так, почему? Такая несправедливо тяжелая расплата за минуты давнего легкомыслия!

Ведь если припомнить, было как? С чего все началось?

...Светлый, солнечный день поздней осени. Оля вернулась из школы, пообедала в одиночестве – мама и сестра были на работе – и побежала к подруге, за два квартала, на их же улице. Побежала налегке – в плащике, босоножках, с непокрытой головой. А бурные листья срывались с деревьев и падали под ноги.

Они делали с подругой уроки; после русского взялись за математику: было две трудных задачи, решение никак не давалось – провозились до сумерек. А потом увлеклись изобретением причесок, смотрелись в зеркало – какая кому пойдет... Совсем стемнело, на улице поднялся ветер, по оконному стеклу ударяли капли дождя. Оля собрала свои учебники и тетрадки, из-за какого-то глупого упрямства не попросила у подруги чего-нибудь теплого, что защитило бы ее от дождя и ветра. Выскочила из подъезда, отважно бросилась навстречу непогоде.

Дома Олю, озябшую, посиневшую от холода, напоили горячим чаем, уложили в постель. Но в ночь у нее начался жар, температура поднялась до 40°, а к утру девушка впала в беспамятство. Врач признал у нее крупозное воспаление легких.

Болезнь протекала трудно. Лишь на восьмой день Оля пришла в себя, температура стала снижаться, хотя еще в течение месяца упорно держалась на 37,4 – 37,5°. И мучил кашель. Ни температуру, ни кашель, ни общее недомогание не могли сбить даже эффективные по тому времени лекарства и уколы.

Все же учебный год Оля закончила успешно, перешла в девятый класс. Чудесное лето с его живительным теплом и отрадным чувством свободы заставило позабыть недавние мрачные дни. Но лето промелькнуло быстро, а осенью, в пору холодных дождей, Оля, неведомо как простудившись, снова слегла в постель. Было обострение легочного процесса с повышением температуры и приступами кашля.

К желанному аттестату зрелости Оля шла через приступы болезни. В часы отчаянья поддерживала мечта: поступлю в медицинский институт, буду учиться, чтобы предостерегать людей от неожиданных болезней... Но все ее планы и налаженная жизнь семьи рухнули, сплетенные грозным словом: война! Отец в первые же дни ушел в народное ополчение и погиб. Суровой блокадной зимой умерла от истощения мать, отдававшая часть своего полуголодного пайка ей, Оле. Практичной, волевой Наде каким-то образом удалось устроить сестру истопницей при военной кухне, и, вероятнее всего, только благодаря этому Оля перенесла блокаду.

Обострения болезни все чаще укладывали ее в постель – на длительное время. Возле была верная Надя, рвалась, тянулась из последних силенок – все для Оли, лишь бы Оленьке стало лучше! Но болезнь неумолимо прогрессировала. Температура почти постоянно была повышенной, обильно выделялась гнойная мокрота с прожилками крови – до трех стаканов в сутки. Тяжелый гнилостный запах становился нестерпимым для самой себя, принуждал уединяться. Лежала, бездумно глядя в потолок, безразличная ко всему окружающему.

Однажды лучиком надежды промелькнуло сообщение, вычитанное в медицинском журнале. Оказывается, при такой, как у нее болезни, все же делают операции – разрезают гнойники. Правда, в журнале писалось, что после таких, даже успешно проведенных операций раны часто не заживают, остаются открытыми. И хоть страшно было представить себя на операционном столе – Оля побежала к хирургу. Тот внимательно осмотрел ее и, вздохнув, развел руками: операцию, которая нужна ей, – увы! – в Ленинграде не делают. Лучик надежды как мгновенно вспыхнул, так же мгновенно и погас...

А в тот день, когда Оля была у заведующей отделением районной поликлиники, она, вернувшись домой, из случайно подслушанного разговора узнала: Надя только из-за нее не выходит замуж за любимого человека, из-за нее жертвует своим счастьем.

Вот тогда-то я и повстречал у трамвайной стрелки отчаявшуюся Олю. И этот роковой случай стал для меня толчком к ускорению большой, дотоле неведомой работы...

* * *

Гнойные заболевания легких, хронические пневмонии с бронхоэктазами и абсцедированием, пожалуй, – самая мрачная страница в истории терапии и хирургии. Терапевтическое лечение давало лишь кратковременный эффект, и большинство больных погибали от интоксикации и амилоидоза почек.

В то время (вторая половина сороковых годов) лишь немногие хирурги осмеливались вскрывать абсцессы или же по частям извлекать изгнившее легкое. Смертность от таких операций была высокой, а у перенесших операцию часто оставались бронхиальные свищи или раны.

Сколько раз в военные годы мы с горьким чувством беспомощности стояли у постели раненных в грудь, не зная, как им помочь. Они требовали операций, методика и характер которых были нам не ясны. Поэтому уже в конце войны, и особенно после нее, мы стали специально заниматься этой проблемой, много читали, экспериментировали.

Из отрывочных сведений, доходивших до нас, было известно: некоторых успехов в этой области достигли хирурги США. Крупницы их опыта были рассеяны по страницам специальных журналов на английском языке. Стало ясно: без хорошего знания языка не обойтись. И я обратился за помощью к Надежде Алексеевне Живкович. За счет скудного времени, что после работы оставалось на отдых, брал уроки – по полтора-два часа два раза в неделю. Заставлял

себя всю литературу, в том числе и художественную, читать только на английском, со словарем, конечно; выписывал в тетрадь, особенно поначалу, чуть ли не каждое слово, узнавая значение этих слов на уроках у Надежды Алексеевны.

Помню, первую статью по хирургии легких, небольшую по объему, я читал ровно месяц, заполнив незнакомыми словами и непонятными оборотами речи всю тетрадь. Надежда Алексеевна, кажется, была довольна мною, как учеником, а я с радостью первоклассника воспринимал даже мало-мальскую ее похвалу... И совсем скоро читал уже не адаптированные, облегченные издания, что выпускаются как пособия для изучающих язык, а обычные книги на английском. И хорошо запомнил, как называлась первая из них – «The Scarlet Pimpernel». Роман из времен первой французской революции. Увлекательная по содержанию, она стала дорога мне: сдан экзамен самому себе – читать умею!

И чем больше я знакомился с литературой по лечению заболевания легких, тем настойчивее ощущал внутреннюю потребность вплотную заняться этой проблемой. Представлялось мне, что мы стоим на пороге ее решения – больше упорства, больше усилий... Порог переступить можно и нужно! От статей на английском перешел к немецким журналам – хотя с трудом, но справлялся сам; французские статьи переводила мне Надежда Алексеевна.

И началом в этом большом деле стала для меня осень 1945 года. В клинику поступила больная с множественными гнойниками в нижней и средней долях правого легкого. Чтобы вывести ее из тяжелого состояния, мы применили все, что было известно и доступно из консервативных и оперативных методов лечения. Решились даже на операцию: пересекли диафрагмальный нерв для паралича диафрагмы – в надежде, что, поднявшись, диафрагма будет опорожнять гной из гнойников легкого. Больной стало лучше, но болезнь не прошла, и гнойники в легких остались. Чувствуя себя подготовленным к радикальной операции, я обратился к нашему руководителю Николаю Николаевичу Петрову с просьбой разрешить ее провести.

– Рано, папенька, рано, – сказал он. У Николая Николаевича было обыкновением называть своих помощников этим словом – «папенька».

Я, хотя досадовал в душе, понимал профессора: подобной операции мы не только никогда не делали, но даже не видели, как ее делают.

Веру Игнатьеву – так звали молодую, двадцати пяти лет женщину – мы лечили восемь месяцев, стараясь улучшить ее состояние то местным, то общим воздействием. Я, наконец, понял, что никакие консервативные меры больную не вылечат, и убедился, что теоретически (по книгам) и практически (на трупах и на животных) мною достаточно изучен этот вопрос. Николай Николаевич разрешил оперировать.

Наша первая операция (насколько мне известно, первая и в СССР) – удаление двух долей правого легкого – была сделана восьмого апреля 1946 года.

Сотни самых сложных операций были после, но эта, конечно, из незабываемых. Трудная сама по себе, она была еще и шагом в неизведанное...

Первое в жизни вскрытие грудной клетки, в то время, как в памяти еще свежи сообщения, что какой-то больной умер от одного прокола плевры... Плевро-пульмональный шок!.. При одной мысли, что я должен широко раскрыть грудь больного, мое собственное сердце сжималось от страха... А тут еще сложность: оказалось, что я не могу вскрыть грудную полость. Она была в прочных спайках, почти в рубцах, и вся анатомия, которую я так тщательно изучал, изменилась до неузнаваемости. Надо подобраться к корню легкого, к его сосудам, но всякая попытка разделить спайки приводит к кровотечению.

Пишу эти строки и как бы заново переживаю свое тогдашнее состояние, все перипетии того дня!

Операция длится уже более двух часов. Наркоз не безукоризнен, местная анестезия из-за спаек малоэффективна. А мы, между тем, никак не можем обнажить сосуды, чтобы их перевязать. Сплошные рубцы. Чуть подашься к центру – того гляди перикард вскрыешь, сердце пора-

нишь. Пробиешь отделить спайки к периферии – задеваешь легкое, оно кровоточит. А к тому месту, где должны быть сосуды, никак не подобраться! Разделяя рубцы, можно легко поранить крупный сосуд, вызвать кровотечение... Как тогда его остановить?

Но сколько топтаться на месте? Не может же операция длиться без конца.

А тут еще, несмотря на непрерывное переливание крови, начало снижаться кровяное давление – грозный предвестник тяжелого шока!.. Прерываю операцию, даю больной отдохнуть, чтобы давление снова поднялось.

И опять все усилия напрасны – никак не могу обнажить сосуды. От сознания, что мне ничего не удастся сделать и больная погибнет на операционном столе, – я весь покрылся холодной испариной. Вся воля нацелена на то, чтобы сохранить самообладание, ясность мысли, твердость рук... Николай Николаевич, пристально следивший за операцией, отлично понимавший ее трудность и мою беспомощность в борьбе с этими спайками, тихо сказал:

– Что ж, папенька, не удастся, видимо, отдельно перевязать каждый сосуд. А больная может не выдержать столь затянувшейся операции. Придется корень легкого пересекать между зажимами небольшими участками и тщательно их прошивать. Иначе корень легкого в этих спайках вам, папенька, не разделить...

Как благодарен был я учителю, – искренне и глубоко переживал он и за больную, и за меня. И словно второе дыхание пришло, зажглась светлая искорка надежды... Действительно, почему не применить метод, не раз описанный в литературе? Он не совершенен – это ясно, но когда нет другого выхода, как быть?! Действовать!

Я стал захватывать ткань в том месте, где должны проходить сосуды, пересекать и прошивать. Постепенно, идя в глубь корня легкого, подобрался к крупному сосуду. Осторожно, затаив дыхание, освобождал его от рубцов.

– Осторожно, папенька, – словно уговаривал меня Николай Николаевич, и как я ни был в те минуты взволнован сам, чувствовал волнение своего наставника, – не порвите сосуд, не спешите... Пока все идет хорошо. Вы молодец, папенька...

Слова Николая Николаевича помогли мне собраться, еще осмотрительнее и в то же время увереннее продолжать операцию. И вот – наконец-то! – легочная артерия перевязана и пересечена. Важный этап пройден. Но подобных этапов в операции еще несколько.

Миллиметр за миллиметром шел я к нижней легочной вене и перевязал ее без осложнений. Остался бронх – в окружении лимфатических узлов и мелких сосудов. Его нужно обработать, чтобы не вызвать излишней потери крови. Давление и без того низкое... Пришлось второй раз делать перерыв.

И вот последний этап – спайки. Они прочно держат легкое, к ним так трудно подойти, что пришлось дополнительно пересекать ребра и расширять рану, продлив ее от грудины до позвоночника. Весь мокрый от пота, я опасался, как бы под конец не ошибиться, не допустить непоправимое. Наконец, выделив доли из спаек, удалил их из плевральной полости. И впервые за много часов расслабил собственные мышцы. Все!..

Операция продолжалась четыре часа – долгих, как день. Не осталось, кажется, никаких сил, но расслабиться можно было лишь на секунды – перед нами лежал человек, в котором едва теплилась жизнь.

Я подробно рассказываю об этой операции и расскажу о некоторых других, потому что уверен: в книге о труде хирурга такие описания просто необходимы. Легко сказать, сделал операцию, но давайте хоть немного проследим, что же стоит за этими словами, постараемся понять, какова ответственность и та нагрузка, которая ложится на хирурга.

А пока – вернемся к рассказу о состоянии Веры Игнатьевой после операции.

Всю ночь и последующие трое суток мы не отходили от больной. Пульс у нее был сто шестьдесят ударов в минуту, слабого наполнения. Николай Николаевич Петров тоже днем и ночью по несколько раз заходил в палату – давал советы, подбадривал нас. И сейчас, через

годы, слышу глуховатый голос, чувствую успокаивающее прикосновение чутких пальцев. Как это важно, когда твой учитель вовремя оказывается рядом, душевным словом и мудрым замечанием поддерживает тебя!..

На восьмой день Николай Николаевич, посмотрев Веру Игнатьеву и выйдя из палаты, сказал мне:

– Ну, папенька, если ты и был грешен в чем – все грехи снимаю. Дело идет на поправку. Поздравляю!

А через два месяца Вера Игнатьева выписалась из клиники в хорошем состоянии. Температура была нормальной впервые за много лет.

Это была победа. Большая.

И хотя, вполне понятно, мы радовались ей, эта победа показала нам, как мы еще слабы, как мало умеем! В процессе операции выявились серьезные недостатки: и не только технические – операционные, но и диагностические, а особенно тактические. Было много неясного, как предупреждать операционные осложнения, как бороться с ними.

К этому времени стали вырисовываться контуры моей будущей докторской диссертации.

...Собрав всех нас, Николай Николаевич Петров распределял темы, говорил, кому написать журнальную статью, кто должен приступить к кандидатской диссертации, а кто – к докторской. Волнуясь, я ждал – что мне? На днях я сказал Николаю Николаевичу, что хочу взять тему докторской диссертации по хирургии легких. Он промолчал. А сейчас, не дойдя до моей фамилии, закрыл совещание...

На другой день опять, как до меня дошел, – закончил разговор.

Подождав, пока все разойдется, я попросил у Николая Николаевича разрешения поговорить с ним, вновь твердо повторил свое:

– Хочу разработать тему «Резекция легких».

– Какой вы, однако, настойчивый, папенька, – покачивая головой, сказал Петров то ли с похвалой, то ли, наоборот, с осуждением. – Я ведь не специалист в этой области и не смогу быть полезным вам как руководитель.

– Сможете, – с невольным жаром и, вероятно, очень убедительно заверил я. – В специальных вопросах постараюсь разобраться сам, с помощью книг, а общее руководство и направление будут ваши, Николай Николаевич! Здесь вы мне дадите как никто другой.

Учитель думал.

– Ну вот что, папенька, – наконец, сказал он, – два месяца сроку вам! Познакомьтесь в основных чертах с состоянием этой проблемы, а потом скажете мне, какие вопросы подлежат разработке...

Для меня такой ответ учителя был как праздник. В назначенный срок я обстоятельно рассказывал Николаю Николаевичу о том, что в отечественной литературе совершенно не разработаны ни показания, ни методика, ни возможные осложнения при резекции легких.

– Как видите, Николай Николаевич, есть чем заняться, – закончил я как можно спокойнее, а сам в тревоге ожидал окончательного решения руководителя. – Клинику этого вопроса постараюсь дополнить экспериментами и анатомическими изысканиями...

Тема моей диссертации была включена в трехлетний план работы кафедры.

Однако хочу оговориться. О диссертации упоминается здесь только потому, что впоследствии в ней удалось обобщить определенный опыт, раскрыть новое направление в хирургии. Изданная отдельной книгой, она стала помощником в работе для многих хирургов... Меня же в тот период мало занимала чисто научная деятельность: интересовали и беспокоили люди, нуждавшиеся в помощи, люди, которых нужно было спасти.

После операции Веры Игнатьевой я с еще большей осторожностью стал думать о возможности новой подобной операции. До этого – пока изучал книги и экспериментировал на животных – думалось: сложно, но сумею! А оказалось: между экспериментом и книгой, с одной

стороны, и операцией у больной, с другой – дистанция огромного размера. Ведь по сути Вера Игнатьева осталась жива чисто случайно!

Прежде всего не было ясно: правильно ли мы ставили показания к операциям, правильно ли решали вопрос, кого надо оперировать, а кого лечить консервативно? Этот вопрос в отечественной литературе не был освещен, и я усиленно читал все доступное в библиотеках Ленинграда, особенно на английском языке. Затем, обобщив данные и свой скромный опыт, написал первую статью по грудной хирургии.

Другое, к чему я стремился, – постичь все детали резекции легких. Нужно заметить, что в те годы большинство хирургов отвергало турникетный метод операции, то есть пересечение всего корня легкого или доли его, пережатого турникетом. Указывалось на огромные преимущества раздельной перевязки элементов корня легкого или доли – каждого сосуда и бронха отдельно – метода трудного и неотработанного.

Сложным был и вопрос о разрезе. А ведь наилучший способ подхода к корню легкого имел большое значение для исхода операции... Поэтому, читая статьи разных авторов по методике резекции, я на трупах проверял рекомендации, вырабатывая свое суждение. Результаты поисков были представлены мною в виде обзора по методике резекции легких, опубликованного в «Вестнике хирургии».

Анатомический зал! Сколько часов проведено у его холодных столов, какие невероятные варианты возникали в голове, когда надо было приоткрыть завесу той или иной тайны... Здесь, работая на трупах, проверяя все известные по литературе разрезы грудной клетки для подхода к корню легкого, я выбрал тот, который показался наиболее целесообразным. Разрабатывая его, внес в его методику существенные усовершенствования, и, ставший обновленным, оригинальным, этот разрез вошел в печатные руководства, им пользовались многие хирурги.

Четырнадцать длинных месяцев с упорством сражающихся бойцов искали мы неизвестное в поставленной перед собой задаче: успешная резекция легких. Четырнадцать месяцев – от первой операции к следующей... И, право, не из-за любви к пышнословью вспомнил я тут про бойцов. У нас был именно передний край.

* * *

Разговаривая со мной, Оля Виноградова прикрывала рот платком, отворачивалась в сторону. Однако я все равно чувствовал тягостный запах гниения, и нужно было следить за собой, чтобы случайно не показать этого, не обидеть ее лишним раз! На лице Оли были то отрешенность и безразличие ко всему, то вдруг оно искажалось глубоким страданием, душевной мукой, взгляд становился затравленным, жалким, и слезы, слезы... Человеческое горе во всей своей безысходности!

Как хотелось вернуть девушку в полузабытый ею мир земных радостей, в рабочий коллектив, к ее сверстницам... Но ведь нужно будет удалить все легкое! Операция, о которой ничего не сообщалось в отечественной медицинской литературе. Мы только знали, что попытки некоторых крупнейших хирургов сделать подобное или кончались печально, или сопровождались такими осложнениями, что они по существу сводили на нет результаты огромной, напряженной работы.

– Вы обещали мне, – говорила Оля, – обещали!

– Вашу болезнь без операции не вылечишь, – объяснял я ей. – А подобных операций мы пока не делали...

– Вы обещали! – твердила Оля в слезах.

– Сделать такую операцию – великий риск, – отвечал я. – Мы не можем идти на этот риск.

Однако в моем голосе, видимо, не чувствовалось категорического отказа, и Оля уловила это. Успокоившись, твердо сказала:

– Вы знаете, что я обречена. Если не будет операции – не будет никакой надежды на спасение. Умоляю – не отказывайте... Я все равно так больше жить не могу... И не хочу! Я опять... Я покончу с собой!

Последнее было сказано с такой осознанной решимостью, что я не сомневался: она исполнит задуманное.

– Хорошо, Оля, – ответил я. – Вы ляжете к нам в клинику на обследование... Не падайте духом.

Тщательно проведенное обследование подтвердило односторонний характер поражения. Правое легкое оставалось здоровым, а левое было полностью поражено мешотчатыми бронхоэктазами. Функция его была ничтожна. Оно представляло собою источник интоксикации и балласт для сердца. Ведь сердцу приходилось проталкивать кровь через нефункционирующее легкое.

Провели лечение, чтобы улучшить состав крови, уменьшить интоксикацию. Оля почувствовала себя лучше, мы увидели первую слабую улыбку на ее лице. Главное: она надеялась!

Меня же в то время смущало не только отсутствие хотя бы маломальского практического руководства по проведению подобной операции. Останавливала собственная неудачная попытка удалить правое легкое у больного. Такая попытка была, и хоть она принесла мне некоторую известность среди врачей, но перед самим собой я должен был признать свою неподготовленность, понял, какие незапланированные, неожиданные трудности кроются в этой операции...

То была операция больного Рыжкова, сорока двух лет, поступившего к нам с множественными гнойниками правого легкого. Консервативное лечение не принесло ему облегчения, и Николай Николаевич Петров на этот раз уже сам посоветовал мне сделать операцию, тем более что общее состояние Рыжкова позволяло идти на риск.

Операция была назначена на 7 января 1947 года. При вскрытии грудной клетки мы обнаружили большое количество спаек, которыми все легкое фиксировалось к грудной стенке. С немалыми усилиями удалось подобраться к корню легкого, обнажить легочную артерию.

Огромный сосуд с тонкими стенками был перед моими глазами. Требовалось обойти его со всех сторон. Спайки мешали этому, а любое форсирование могло привести к разрыву стенок сосуда, и тогда – катастрофа. То были минуты сильнейших душевных переживаний и сомнений!

Бережно, с огромным трудом удалось обойти пальцем сосуд, провести лигатуру и перевязать его. И сразу – падение давления до угрожающего показателя! Прервали операцию и довольно долго ждали, прежде чем давление выровнялось. Однако при первой же попытке возобновить разделение спаек, чтобы обнажить другие сосуды, давление опять упало, и новый длительный отдых не дал ничего. Давление застыло на критических цифрах. А нужно было преодолеть еще и травматичные моменты – перевязать верхнюю и нижнюю легочные вены, перерезать и ушить бронх, разделить спайки между легким и плеврой. Разве Рыжков выдержит – при таком-то давлении! И невозможно ждать, когда оно поднимется, – сколько можно больному быть с открытой грудной клеткой?..

Что делать? Продолжать операцию – шок и – верная смерть. А не продолжать нельзя. Из литературы я знал, что перевязка легочной артерии в эксперименте над животными заканчивалась некрозом легкого и гибелью подопытного. А у человека еще никто артерии не перевязывал... Никогда я не чувствовал себя таким беспомощным!

Вернулся в операционную отлучившийся ненадолго Николай Николаевич – потеснил нас, подавленно стоящих у стола, спросил:

– Сколько времени держится низкое давление?

– Около часа, – ответил я, – падение вторичное, почти не имеет тенденции к подъему...

– Кончайте операцию. Осторожно зашивайте рану, не прекращая борьбы с шоком.

– А как с легким? – взволнованно спросил я. – Легочная артерия-то перевязана!

– Выхода, папенька, нет, – сурово сказал Николай Николаевич. – Кончайте! Может быть, обойдется.

Последние слова учитель сказал уверенно и обнадеживающе. Зашили рану грудной клетки, приложили все свое умение, чтобы вывести Рыжкова из шока. К нашей радости и к удивлению, больной стал быстро поправляться, выделение мокроты прекратилось, температура была нормальная. Он пожимал мне руку, благодарил за избавление от страданий. Что я мог ему сказать? Объяснял сдержанно, что проведена лишь первая часть операции – перевязана легочная артерия, что, вполне вероятно, придется ему, Рыжкову, снова лечиться под нож...

– Конечно, конечно! – охотно соглашался он, полагая, что вся операция проходила по строго задуманному плану, радуясь, что уже после первого этапа он как бы заново вернулся к жизни – здоров, можно сказать. – Я понимаю, я готов!

Нужно отметить, что Рыжкова после операции мы наблюдали многие годы. Он чувствовал себя нормально, обострения легочного процесса у него не наблюдалось. Бесконечно благодарный нам, он охотно приезжал по вызову – для контроля или демонстрации. В свой последний приезд вдруг заявил мне:

– Не могу примириться, Федор Григорьевич!

– С чем же?

– Почему вас зовут доцентом, а не профессором!

– Рано мне в профессора, – отшутился я, невольно подумав при этом, какой нравственной перегрузки стоила мне операция Рыжкова.

– Не рано, – убежденно ответил он. – А если вам для звания профессора понадобится удалить мое второе легкое – я готовый, хоть сейчас!

Добрый человек! Говорил он это так серьезно, что похоже было – не шутит!

Операция перевязки легочной артерии у человека, от которой он не только не умер, но даже избавился от гнойного заболевания, произвела в медицинском мире громадное впечатление. Она обещала новые перспективы, новые открытия... В газетах писали обо мне, что я – «впервые в мире...» и тому подобное. Было, не скрою, лестно читать и слышать подобные слова, однако обострилось чувство ответственности. Хотел я для себя не случайных удач, а надежных результатов, добытых опытом, которые были бы уже системой...

Еще несколько раз применяли мы подобную операцию у других больных – уже сознательно, и, как ни странно, такого поразительного успеха, как в случае с Рыжковым, добивались не всегда. Забегая вперед, скажу, что позже я поручил разработать более детально эту проблему А. В. Афанасьевой в ее докторской диссертации, с чем она, по-моему, неплохо справилась. Тогда же мы долгое время не могли установить, почему легкое у больного не омертвело, в то время когда в эксперименте у животных оно всегда омертвевало. А суть была вот в чем... Перевязка легочной артерии приводила к резкому обескровливанию легкого, но через спайки с грудной стенкой образовывался коллатериальный (запасной) путь кровоснабжения, поддерживающий питание легкого. В то же время недостаточное кровоснабжение из-за перевязки главного сосуда приводило к сморщиванию легкого и постепенному запустению гнойных полостей. Так что, сделав эту операцию отчаяния по совету Николая Николаевича, мы – пусть и случайно, однако для пользы дела – получили хороший результат. Было основание радоваться этому? Разумеется.

Приблизительно в это же время ситуация, подобная нашей, возникла в операционной у А. Н. Бакулева, и он, как и мы, вынужден был непредусмотренно закончить операцию после перевязки легочной артерии. Его больной, как и наш Рыжков, почувствовал себя здоровым. Однако отдаленные результаты А. Н. Бакулев, к сожалению, не опубликовал... Вот что мы

имели в своем активе в те месяцы, когда роковой, как я его окрестил для себя, случай столкнул меня и Олю Виноградову.

* * *

А к Оле все в клинике привязались.

Утром заходишь в палату:

– Здравствуй, Оля!

– Ой, Федор Григорьевич, а к нам на окошко птица садится!

– Какая же птица?

– Не воробей, но не хуже! Перышки чистит. Мы ее кормим.

И ожившие глаза с надеждой смотрят на меня! Оля надеялась на нас, была уверена, что после операции к ней вернутся счастливые дни...

Операция состоялась 5 июня 1947 года.

Применили разработанный мною волнообразный разрез с пересечением ребер... Невроятного напряжения стоило освободить от спаек крупный сосуд, – это когда уже подошли к корню легкого, рассекли медиастинальную плевру. Сосуд нужно было отделить от окружающей ткани, обнести вокруг лигатуру и перевязать надежно, чтобы она не соскользнула. Делать это необходимо было с великой осторожностью, чтобы нитка не перерезала тонкую стенку артерии, и это – в глубине, где так легко поранить аорту и легочную вену! Тут малейшая ошибка, неосторожное, нерассчитанное движение и – непоправимая беда. Я собрал волю, что называется, в кулак, старался ничем не выдать своего волнения. И мне, и неизменным моим ассистентам – Александру Сергеевичу Чечулину и Ираклию Сергеевичу Мгалоблишвили – необходимо было сейчас, как никогда, проявить все свои способности и умение.

В конце концов артерия была перевязана, прошита и пересечена; кровяное давление у Оли не упало, состояние не ухудшилось, и мы позволили себе сделать небольшой перерыв... Второй же этап операции при перевязке нижней легочной вены заставил пережить нас ужасные минуты. Из-за фиброза легочной ткани и смещения левого легкого в большую сторону эта вена оказалась глубоко в средостении, прикрытая сердцем и почти недоступная для хирурга. Чтобы ее обнажить, наложить на нее лигатуры, прошить и перевязать, ассистент, помогая мне, должен был довольно сильно отодвигать сердце вправо. Но сердце плохо переносит любое прикосновение, а тем более насильственное смещение...

Олино сердце тут же отозвалось дополнительными и неправильными сокращениями (аритмия), и врач, непрерывно измерявший по ходу операции кровяное давление, тревожно сообщил, что оно катастрофически падает. Сердце Оли грозило остановиться. И мы вынуждены были на какое-то время отступить, дать сердцу возможность выровняться...

Вновь ассистент отодвинул сердце для продолжения операции, и через несколько минут – новый перерыв. За ним – другой, третий... Сердце с каждым разом все труднее возвращалось к нормальной работе. Стремясь как можно быстрее закончить перевязку и пересечение вены, я вынужден был предостерегать себя от торопливости. Вена натянута, и если она выскользнет из лигатуры – конец... Остановить кровотечение из короткой культы нижней легочной вены практически невозможно.

Годы спустя, с приобретением опыта, мне, правда, удавалось это сделать. Однако что за мучения были!.. Но в тот день, несмотря на большой соблазн закончить операцию как можно скорее, у меня все же хватило выдержки и хладнокровия с особой тщательностью перевязать и прошить сосуд. А когда убедился, что перевязка сделана безупречно, пересек вену...

Операция продолжалась три часа сорок минут. Три часа сорок минут и почти два года работы над книгами, эксперименты над животными и анатомические изыскания... Три часа

сорок минут за операционным столом плюс многомесячное обдумывание каждой детали. И, конечно же, опыт первых трудных и весьма поучительных операций.

И длительная, самая тщательная подготовка больной, направленная на укрепление ее общего состояния. При поступлении в клинику Оля откашливала более шестисот миллилитров мокроты со зловонным запахом, а перед операцией – всего восемьдесят–сто миллилитров, уже слизисто-гноной, без запаха, температура была стойко нормальной, улучшилась картина крови...

После операции покоя не наступает – ни для больного, ни для операционной бригады. Или, вернее, он приходит не сразу. Как только местное обезболивание перестает действовать, болевые импульсы с огромной операционной раны устремляются к мозгу, а это, как правило, вызывает падение у больного кровяного давления... Борьба за жизнь человека продолжается.

И в тот день – полутора часов не прошло, я отлучился, чтобы выпить стакан чая, – ко мне прибежали с тревожным известием: Оле плохо!

Она лежала белым-бела, с очень слабым и частым пульсом, безразличная ко всему. Срочно ввели морфий, струйно начали вводить кровь, наладили дыхание кислородом... Розовели Олины щеки, стало ровным, хорошим дыхание... Двое суток мы не отходили от нее, пока угроза не миновала. А в последующие дни особое внимание обращали на то, чтобы рана и плевральная полость не нагноились.

Ведь тогда у нас не было никакого опыта выхаживания подобных больных после операции. Как горячо дискутировали мы, собираясь в ординаторской, как спорили, находя нужное решение! А порой, разгоряченные, все вместе шли в библиотеку – искать ответ в книгах.

Как сейчас помню раздумчивый кавказский голос Ираклия Сергеевича, его по-юношески пыливый взгляд, чистоту и доброту которого не могли погасить прожитые потом годы.

– Федя, а не лучше ли нам откачать всю кровь из плевры, чтобы случайно не нагноилась?

– А чем будет заполнена плевра, когда воздух всосется? – вступает в разговор Александр Сергеевич.

– Ну, диафрагма поднимется, ребра опустятся, постепенно чем-нибудь заполнится...

– Чем-нибудь она не может заполниться, – говорю я. – Туда, откуда всосется воздух, смешаются сердце и сосуды. А сосуды из-за смещения могут перегнуться, резко затруднят работу сердца.

– Подумать нужно, – не сдастся Ираклий Сергеевич.

– Я согласен с Федей, что кровь откачивать не следует, – это опять Александр Сергеевич. – Кровь свернется и зафиксирует сердце на месте...

– А угроза инфекции?

– Угроза реальная, – соглашаюсь я с Ираклием Сергеевичем. – Будем на страже! Зато, если не откачаем кровь, позднее Оле будет легче...

– Это да, – кивает головой Ираклий Сергеевич. – Но надо думать, друзья, думать! Вы знаете, что Оля мне сегодня рассказала? Сон видела: луг в ромашках, и она бежит по нему. Бегу, говорит, Ираклий Сергеевич, бегу!..

И было славное чувство в душе: рядом с тобой такие же, как ты сам, увлеченные люди, они твои товарищи по работе, мы понимаем друг друга... Как много это чувство значит для дела и как часто нам в жизни не хватает его! Но в ту пору я был счастлив, что нахожусь среди хороших людей, что во главе нашего коллектива стоит мудрый и благородный во всех своих поступках Николай Николаевич Петров.

Не забудешь ту доброжелательность, с которой Николай Николаевич относился ко всем нововведениям, ко всем моим предложениям, направленным на разработку проблем легочной хирургии. Он лично не принимал участия в этих операциях, но часто успех нашей работы зиждился на вовремя поданном им совете. С бескорыстием большого человека все, что знал и умел сам, он щедро отдавал нам...

Не слышали мы от него упреков, когда случались неудачи. Николай Николаевич понимал, что они не от небрежения, а от недостатка опыта, на тернистой же тропе нового дела всегда поджидают непредвиденные неожиданности. Глубоко переживая наши неудачи, он в то же время оберегал нас от лишних эмоциональных потрясений, подбадривал и одновременно всем своим поведением показывал пример самого заботливого отношения к больным. Интересы больного человека ставились им превыше всего. И прогресс науки Николай Николаевич Петров прежде всего расценивал как помощь страждущему человечеству... В книге я еще не раз вернусь к этому дорогому для меня имени.

С Александром Сергеевичем Чечулиным мы оба были доцентами, но я заведовал отделением, а он исполнял обязанности заведующего клиникой. Однако за все годы нашей совместной работы Александр Сергеевич ни разу даже косвенно не подчеркнул свои формальные права давать мне те или иные указания... Его отношение ко мне и другим строилось на уважении, стремлении помочь в новых начинаниях, не было в нем ни зависти, ни боязни, что кто-то обойдет его. Это была, конечно, школа Петрова. Александр Сергеевич беззаветно любил медицину, в совершенстве освоил профессию хирурга. Жаль только, что будучи заядлым спортсменом, он отдавал своему увлечению слишком много времени, – докторская диссертация оказалась ненаписанной. И хотя он был прекрасным хирургом, опытным преподавателем, после того как ушел из института Н. Н. Петров, его не оставили заведующим кафедрой. На этот пост был избран другой, имевший степень доктора.

При всех моих операциях Александр Сергеевич ассистировал первым ассистентом, а вторым, как уже упоминалось выше, был Ираклий Сергеевич Мгалоблишвили, ныне профессор. В клинику он пришел с опытом, полученным на фронте. Энергичный человек, способный хирург, Ираклий Сергеевич защитил кандидатскую диссертацию и вскоре перешел в Военно-медицинскую академию, стал там доктором наук и занял кафедру хирургии в одном из периферийных вузов...

Благополучно законченная операция у Оли Виноградовой была для нас не случайной победой. Ей предшествовала двухлетняя кропотливая подготовительная работа. Операция положила начало более быстрому развитию этого раздела хирургии в клинике Н. Н. Петрова. Вслед за ней мы провели несколько подобных – по удалению долей легкого, затем по удалению всего легкого при абсцессе...

Интерес к работе клиники был необычен. Наши заявки на демонстрации и доклады в Хирургическом и Терапевтическом обществах принимались и включались в повестку дня сразу. Мы почувствовали даже то, что, вероятно, постоянно чувствуют удачливые люди искусства, – настойчивое внимание к себе со стороны других, ощущение внезапно пришедшей к тебе известности, чуть ли не славы. Однако, когда серьезно работаешь и конца работы не видно, ты поневоле далек от праздного самолюбования. Были дороги теплота и уважение коллег, основанные на понимании твоих устремлений.

Запомнилось, например, такое. Однажды я услышал, как два хирурга средней квалификации обсуждали мое выступление, и один, не видя, конечно, меня, сказал:

– А толковый этот парень Углов!

– Да, – согласился другой, – и молодой совсем!

Выглядел я тогда действительно молодо: черные волосы, невысокий рост, спортивная фигура. Рядом с Чечулиным и Мгалоблишвили, в которых было по сто девяносто сантиметров, как у хороших баскетболистов, я, конечно, проигрывал – не та солидность!

Да еще Н. Н. Петров как-то по-домашнему, сердечно называл меня всегда Федей, а Феде, замечу, было уже за сорок.

Возможно, мой внешний «несолидный вид» внушал определенное недоверие некоторых маститых хирургов, тоже в то время приступавшим к освоению проблем хирургии легких. Лично же я с большим уважением относился к каждому из хирургов, кто работал в этой обла-

сти. С удовольствием вспоминаю совместное выступление с Петром Андреевичем Куприяновым в Терапевтическом обществе.

Я демонстрировал двух своих первых больных – Веру Игнатьеву и Олю Виноградову. Обе чувствовали себя прекрасно. И все же было у меня некоторое ощущение робости. Еще бы – сам Куприянов, всесоюзная знаменитость, признанный авторитет, и я с ним... Попросил совета у Николая Николаевича. Тот внимательно, как на репетиции, прослушал мое выступление и сказал:

– Вам отводится для демонстрации семь минут, а вы, папенька, разбежались на целых девятнадцать. Вот это сократите и это... Кроме того, рекомендации излишне категоричны, а больных излеченных – всего двое. Хотя эффект разительный, но все же, Федя, – их двое, а не двадцать! Я советую вам никаких рекомендаций обществу не давать, а закончить свое выступление вот такими словами...

И Николай Николаевич привел их мне. На заседании общества, показав хороший результат операций у больных, раскрыв по клинической картине и по бронхограммам их состояние до операции, я закончил выступление следующим образом:

– Вместо выводов разрешите мне сослаться на слова одного французского философа, о которых мне напомнил мой учитель Николай Николаевич Петров: «Я ничего не предполагаю, я ничего не предлагаю, я только излагаю и прошу вас самих сделать вывод из изложенного».

Под аплодисменты я прошел на свое место, стал слушать доклад П. А. Куприянова. Он продемонстрировал больную, которой – приблизительно в то же время, что и я, – удалил левое легкое. Выводы его доклада совпадали с моими данными... И в дальнейшем наши выступления нередко перекликались, мы как бы дополняли друг друга.

Уже будучи заведующим кафедрой госпитальной хирургии 1-го Ленинградского медицинского института, я в 1951 году демонстрировал больного, у которого удаление пораженного раком легкого было произведено при внутривисцеральной перевязке сосудов. Такая методика демонстрировалась впервые в нашей стране. Не было сомнения в ее прогрессивности: она расширяла технические возможности хирургов, способствовала увеличению операбельности таких больных... Поэтому на заседании общества слышались только одобрительные голоса. Лишь представитель клиники П. А. Куприянов сдержанно сказал, что они этой методикой не пользовались и что-либо говорить в ее пользу у них нет оснований...

Примерно через год я выступал уже с докладом на эту тему: сообщил о семнадцати операциях при раке легкого с внутривисцеральной перевязкой сосудов. Преимущества этого метода теперь уже доказывались на большом материале... В прениях взял слово Петр Андреевич Куприянов и, ссылаясь на меня, подтвердил надежность внутривисцеральной перевязки сосудов легкого. Закончил он выступление неожиданным сообщением, что этот метод теперь широко применяется в их клинике.

– Мы с вами в одной упряжке идем, – сказал он мне с улыбкой во время перерыва. – А в упряжке должен быть надежный коренник. Так ведь?

* * *

Здоровье – это счастье человека. И нужно было видеть сияющие глаза Оли Виноградовой, слышать ее звонкий смех! Надя говорила мне, что забыла, как улыбается сестра, а теперь... Оля ревилась, как маленькая – бегом, бегом, бегом... На четвертый этаж взбегала по лестнице, не чувствуя одышки, а ведь до операции на второй этаж поднималась с трудом, поддерживаемая нянечкой. Не было границ ее радости.

– Федор Григорьевич, – приметив меня во дворике, кричала она из раскрытого окна, – вы идете и ничего не видите!

– А что я должен увидеть?

– Все, что вокруг вас! – И смеялась.

И я, встряхнувшись, замечал, какой на самом деле хороший денек, небо высокое, чистое, много солнца и мягкой спокойной синевы...

Уже были в нашей клинике и другие больные, подобные Оле, гладко прошли операции и у них, они хорошо чувствовали себя в послеоперационный период.

Однако меня не покидало смутное ощущение тревоги: на первых порах нам посчастливилось, но знаем-то мы еще мало!.. Особенно заметно выявилось это, когда в клинику стали поступать больные с хроническими абсцессами. Их тяжелое состояние было серьезным препятствием для операции. У них так резко падало артериальное давление, что приходилось делать долгие перерывы в операции, а порой – просто немедленно прекращать ее, лишь бы снять больного живым со стола! Были случаи с печальным исходом...

Смерть больного всегда тяжело переживается хирургом, и вдвойне тяжелее, если происходит при разработке новых разделов хирургии. Тут – и сам факт смерти человека, который надеялся на тебя и к которому ты привык сам; тут и угроза успешному продолжению начатого тобой дела... Умрет больной во время операции или после нее – места не находишь, терзаешься, упрекаешь себя во всех возможных и невозможных ошибках и упущениях.

Не все способны понять, как сложен, а иногда и драматичен труд хирурга, прокладывающего новое направление в науке. Сколько обвинений и укоров летят ему, если не в лицо, то в спину!

На одной из патологоанатомических конференций мы разбирали причину смерти больного, погибшего во время операции при раке пищевода. Вспоминая этот случай сейчас, четверть века спустя, невольно думаешь о том героизме, который проявили и больной и хирург: тяжелейшая операция проводилась под местным обезболиванием. Во время операции, при прохождении через левую плевру, пищевод можно было выделить лишь при условии, что опухоль не проросла правую плевру. Но знать заранее об этом хирург не мог. У больного правая плевра как раз оказалась проросшей опухолью и при выделении порвалась... Можно себе представить, что в эти минуты переживал хирург!

На конференции один из медиков-администраторов, уяснив вроде бы объективную картину случившегося, все же грозно изрек:

– Разговоры разговариваем. Не надо было рвать правую плевру – и все тут!

Сказано было так, что хирург чуть ли не обвинялся в том, что сознательно погубил человека. Как будто при подобной операции имелся другой выход!

Ужасно слушать несправедливые упреки, еще ужаснее оправдываться под их тяжестью... Мы старались на подобные мероприятия приглашать Николая Николаевича. Человек с непрекаемым авторитетом, он одним своим присутствием вносил успокоение в ряды ретивых администраторов.

О, эти печальной памяти так называемые лечебно-контрольные и патологоанатомические конференции былых лет! В какие судилища они превращались с их непременным стремлением во что бы то ни стало найти виновных! А коли виновного изыскивали – незамедлительно следовала административная санкция. И чтобы избежать неприятностей, хирурги всячески старались доказать, что всему виной одни лишь объективные причины... Это не шло на пользу делу: ошибки замазывались, когда на них нужно было учиться.

Николай Николаевич Петров постоянно внушал нам: при несчастном случае мужественно ищите, в чем ошиблись, не бойтесь этого! Поняв причину ошибки, вы не повторите ее в будущем, предостережете других...

– Николай Николаевич, вы считаетесь у нас в стране непревзойденным диагностом. Были ли у вас диагностические ошибки? – спрашивали мы у него.

– Были, – отвечал он. – Такие, что оказывались роковыми для больных. Неприятно вспоминать, но никуда не денешься...

– У нас при разборе врачей за ошибки сурово наказывают. Правильно ли это?

– Нужно наказывать за халатность, небрежность, – говорил Николай Николаевич. – А за ошибку, особенно при постановке диагноза, возьмется наказать лишь тот, кто сам у постели больного не решал сложных вопросов... Ошибка поиска – не ошибка от невежества и зазнайства. Это нужно различать.

...А мы мучились: что же делать с тяжелыми больными, у которых хронические абсцессы? Одна смерть, другая... Из-за этого может быть приостановлена вся наша так успешно начатая работа.

– Не брать на стол тех, для кого операция – непосильная нагрузка, – горячился Ираклий Сергеевич.

Поздним вечером, отдыхая, мы сидели в ординаторской.

– Отказывать несчастным в помощи? – возразил Александр Сергеевич. – У меня язык не повернется сказать больному: прощайте, мы вас выписываем, ничем помочь не в силах!..

– Друзья, – вступил в разговор я, – таких больных нужно готовить к операции, как готовили Веру Игнатьеву. Но положение их более тяжелое – что-то особенное требуется, искать нужно. Пенициллин на многих из них не действует. Так ведь? А что, если начать применять его местно?.. В очаг поражения.

– Это мысль! – живо отозвался Ираклий Сергеевич. – Ведь некоторые хирурги делают так – при маститах.

– Мысль, – задумчиво согласился Александр Сергеевич.

Сейчас может показаться странным: над чем бились! А тогда именно бились. В то время, не так уж и отдаленное от нынешнего, мы еще не умели справляться с угрозой воздушной эмболии, открытого пневмоторакса, кровотечения и некоторых других осложнений.

Взвесив все «за» и «против», мы пришли к единому мнению: поскольку ничто другое не помогает – вводить пенициллин прямо в легкое.

И был получен во многих случаях отличный результат. Тяжелые больные, которых длительное время лихорадило, после первых же уколов в легкое чувствовали облегчение, даже выделение мокроты у них исчезало, они легче переносили операцию. Но не все! И вот с теми, кому не помогали внутриведочные пункции, не знали, что делать. Отпустить из клиники – почти сказать: ты обречен, ты безнадежен... А среди таких – и это сознавалось нами с особой горечью – были дети. Поньше снятся их бледные личики с неизъяснимой печалью, рано уставшие глаза...

Запомнилась шестилетняя Валя.

Ее мать, психически ненормальная, привязала девочку к кровати и открыла форточку на всю ночь, – дело было зимой. Валя заболела тяжелой формой воспаления легких; после у нее было не менее тяжелое обострение. В клинику ее привезли чужие сердобольные люди. Нас, повидавших немало человеческих страданий, потрясла судьба этой девочки. Состояние ее было ужасным: левое легкое в гнойниках, постоянно повышенная температура, огромные выделения мокроты... В довершение всего в моче появился белок – первый признак начинающегося амилоидоза почек, а это – начало конца.

Я сам делал Вале уколы внутрь легкого – при тщательной местной анестезии, чтобы как можно сильнее пригасить болевые ощущения. Валя, поняв после первых же уколов, что от них ей становится лучше, шла в перевязочную без сопротивления, вела себя со взрослой рассудительностью...

– Немножко больно, зато потом будет хорошо – да?

Мы кивали в ответ: да, Валя, да, милая...

Меня часто не только что восхищало, буквально поражало сознательное отношение детей к своей болезни, понимание того, что все медицинские манипуляции, нередко болезненные,

которые мучительно переносили даже взрослые, – необходимы, без них не обойдешься. В детях, которых коснулось горе, много мужества и терпения.

Пенициллин, вводимый Вале в очаг поражения, не помогал, интоксикация держалась. Девочка таяла на глазах. Я обратился к учителю:

– Николай Николаевич, а если девочке ввести однопроцентный хлористый кальций, как вы советовали делать при сепсисе?

Он задумался, ответил, размышляя:

– Что ж, это, вполне вероятно, даст результат... Ведь у таких больных нарушена проницаемость клеточной мембраны, особенно нервных клеток, нарушена и их функция. Попробуйте! Может быть, у подобных больных происходят те же процессы, что и при общем заражении крови... Тут, папенька, поле деятельности...

И мы решили применить Вале внутрилегочные уколы пенициллина с внутривенным введением больших доз однопроцентного хлористого кальция. Девочка перенесла это вливание хорошо (а влили относительно большую дозу – сто миллилитров), но температура держалась. Тогда на следующий день – после обязательного предварительного контроля под лучами рентгена – мы ввели Вале внутрилегочно раствор пенициллина на новокаине.

К великой нашей радости, температура упала! Продолжая вводить кальций и одновременно делать внутрилегочные уколы, мы скоро добились значительного укрепления организма Вали, и операция по удалению у нее пораженного левого легкого прошла без осложнений. У постели девочки с охотой дежурили и врачи, и медицинские сестры. Через месяц уже можно было выписать нашу общую любимицу из клиники. Но никто за Валею не приходил, и мы задержали ее у себя еще на полтора месяца, – пока длилось оформление в детский дом.

Испившая в детские годы горькую чашу до дна, Валя отвечала на нашу заботу любовью и лаской, и, право, до сих пор слышится мне ее трогательный голосок...

Нужно ли объяснять, что с этих пор у нас в клинике метод борьбы с гнойной интоксикацией с помощью хлористого кальция и внутрилегочных пункций получил твердую прописку. А это – само собой, после опубликования в хирургической печати наших данных – привлекло внимание других медицинских коллективов. К нам приезжали, чтобы лично ознакомиться с методикой подобной подготовки больных к операции.

Правда, кое-кто из хирургов считал, что мы напрасно тратим время на такую подготовку, она не обязательна, когда врач в совершенстве владеет своей профессией... Такого мнения, например, придерживался Н. М. Амосов – хирург талантливый, однако человек несколько увлекающийся. Он писал, что безо всякой подготовки получает благоприятные результаты – гнойная интоксикация ему не помеха. Однако спустя некоторое время Н. М. Амосов признал, что все же в некоторых случаях он тоже находит нужным готовить больных к операции. И это признание только выгодно оттенило незаурядность характера и преданность науке блестящего хирурга и большого ученого...

Каких-нибудь два-три года прошло всего, а клиника Н. Н. Петрова стала известна в стране как один из ведущих центров торакальной хирургии. Наряду с лечением гнойных заболеваний легких, мы уже принимали и больных раком легких. Николай Николаевич благословил нас на разработку очередной совершенно новой проблемы – хирургии внутригрудного отдела пищевода, и вскоре тут тоже были получены первые успехи. Обо всем этом и о другом, о нашем дружном коллективе энтузиастов, в котором каждый работал с единственной целью – спасти больного, еще будет рассказано в других главах. Мне же те годы особенно дороги потому, что именно тогда я становился на путь большой хирургии.

А начало пути, полного труда и дерзаний, проглядывается в далеких днях детства. Мои приятели по улице и школе хотели быть моряками и путешественниками, машинистами на невиденной нами железной дороге и знаменитыми сыщиками, с понятной мальчишеской легкостью меняя свои привязанности, наделяя себя новой мечтой... А я не помню, когда бы не хотел

стать хирургом, твердо знал и стремился к одному – буду врачом, и именно хирургом. Так что начало всему – от порога отчего дома...

Глава 2

Домашние вечера

Мы жили в сибирском городке Киренске. На триста – пятьсот верст вокруг не было другого места, где бы еще имелась больница. И редкую неделю в нашем гостеприимном доме не останавливались на ночлег приехавшие издалека знакомые. «К доктору, – говорили они, – дал бы он облегченье!..»

Уважительно произносилось имя киренского хирурга Светлова. Руки у него, как я сейчас понимаю, были искусные, душа чистая, сострадательная к чужой беде. Он был из тех благородных русских натур, которые на заре нового двадцатого века связали свою жизнь со служением простому народу, стремились в глухих, медвежьих углах нести людям знания, культуру, собственным примером учили добру и бескорыстию.

Какими счастливыми, буквально заново воскресшими уезжали в свои деревни после светловских операций наши гости! А однажды произошло такое, что вовсе укрепило мое желание – буду, как Светлов!

...В деревне подрались парни. Местные задумали проучить пришлых, чтоб те не ходили к ним на вечеринки, не смущали девушек: пусть, мол, со своими красавицами веселятся! Обычная потасовка переросла в кровавое побоище. Среди пострадавших оказались мой двоюродный брат Петя и его дружок Василий. Брату нанесли сквозное ранение правого предплечья с перерезом двух нервов. Василия ударили ножом в шею, был, по-видимому, поражен крупный сосуд. Парень от потери крови несколько раз терял сознание.

В Киренск раненых привезли в тяжелом состоянии. Помню запрокинутое посиневшее лицо Василия, уложенного в телеге, его безжизненно свесившуюся руку. Петя запекшимися губами просил пить. Я, переживая, ходил под окнами больницы, было тревожно видеть через стекла мелькание белых халатов, но я все же верил: доктор Светлов поставит парней на ноги.

И после было радостно сознавать, что мои надежды оправдались. Я словно бы в самого себя поверил: можно научиться спасать людей!

Как-то вечером всей семьей мы читали вслух «Ущелье дьявола» Дюма. Там есть эпизод: внезапно заболела маленькая девочка, перепуганная мать бежит к врачу, но тот соглашается спасти крошку лишь при одном, унижительном для женщины условии... Слезы навертывались на мои глаза, я ненавидел этого бессердечного лекаря, был готов в те минуты мчаться туда, к бедной девочке, чтоб спасти ее.

Такие вечерние чтения были обыкновением в нашем доме. Сколько хорошего давали они нам, детям! С тех пор, например, наизусть помню поразившую тогда мое воображение поэму Пушкина «Братья-разбойники»... Заключение в книгах великая сила, словно живительная кровь, переливалась в наши сердца.

Обычно в сумерки, как только отец, вернувшись с работы, отдохнет и закончит неотложные дела по хозяйству, а мы приготовим уроки, садились вокруг стола у зажженной лампы и допоздна читали вслух. Начинал отец, читал он с большим чувством. Особенно любили мы исторические романы. Они давали нам понимание того, как велика наша страна, как богата она интересными, даровитыми людьми, как нуждается в полезных делах! Слово *Россия* приобретало для нас конкретный смысл, было таким же близким и родным, как другие понятия – *дом, мама, папа, товарищи*...

Когда в книге попадались трогательные сцены, у отца заметно дрожал голос, а иногда он даже прерывал чтение, чтобы успокоиться. Человек трудной судьбы, испытавший унижения, несправедливость, он был чуток к горю других. А всегда так: страдания других лучше понимает

тот, кто сам страдал. Вспоминаются строчки Ивана Никитина из его «Бурлака»: «Эх, приятель! И ты, видно, горя видал, коли плачешь от песни веселой!...»

Нередко в такие вечера мы слышали от родителей рассказы о минувших днях – они как бы служили живой иллюстрацией к узанному из книг, дополняли их, заставляли нас задумываться над суровой правдой жизни. И снова хочется сказать, с нежной благодарностью вспоминая отца, маму: прекрасной школой воспитания были домашние вечерние чтения-беседы!

Вот отец, отложив в сторону книгу, задумавшись над судьбой литературного героя, говорит:

– Да, и ему пришлось хлебнуть мурцовки...

– А что такое мурцовка? – спрашиваем мы.

– Арестантская еда из крошек хлеба и сырой воды, – поясняет отец. – Мы на этапе только этим и питались...

– А что такое этап?

Отец отвечает строчками из Некрасова:

Под караулом казаков с оружием в руках
Этапом водим мы воров и каторжных в цепях...

Он замолкает, тень нелегких воспоминаний набегаёт на его лицо.

– Папа, – спрашиваю я, – а как у тебя все это было?

И детское воображение уже рисует картину: под низким хмурым небом по чавкающей осенней дороге бредут закованные в цепи арестанты, их мочит дождь, ошметья грязи из-под копыт казачьих коней летят им в лица, и нет конца этому печальному пути, и вот уже кто-то из несчастных со стоном валится на холодную землю...

Семнадцатилетним юношей несколько месяцев брёл по этапу мой отец.

Родился он в 1870 году, в семье потомственного пролетария, рабочего нижнесалдинских заводов (Нижне-Тагильский округ Пермской губернии) Гаврилы Тимофеевича Углова.

Заработок у Гаврилы Тимофеевича был ничтожный, а семья большая, и старшие дети – дочери, которых на завод не устроишь... Поэтому сын Гриша на одиннадцатом году пришел в заводской цех.

Четыре класса приходского училища (образование, которым в ту пору мог похвастаться редкий из рабочих), природный ум, бойкий характер способствовали тому, что мальчик в четырнадцать лет уже был умелым слесарем и токарем по металлу. А это определило к нему и отношение взрослых товарищей – вместе с ними он участвовал в тайных собраниях, где под руководством исключенного из университета за революционную деятельность студента читалась запрещенная литература, обсуждались меры борьбы с предпринимателями...

Так продолжалось до тех пор, пока в рабочей среде не оказался провокатор. И самое обидное, что предал всех человек, которого и подозревать-то не могли, – из пролетарской семьи. Он сразу же получил повышение по работе, открыто похвалялся своими «успехами». А у Григория Углова, у всех других провели обыски и тут же уволили с завода с «волчьим билетом».

Григорий Углов, темпераментный по натуре человек, забияка, участник слободских драк, вместе с другими подкараулил провокатора, и они хорошенько проучили его. И хотя драки в слободе – явление привычное, дня без них не обходилось, в этом случае полиция вмешалась живо. Делу придали политическую окраску, состоялся скорый суд: ребят осудили на вечное поселение в Восточную Сибирь. Вначале острог, а потом и этап – под конвоем, в одной связке с уголовниками, убийцами, клейменными разбойниками...

Здесь, в Сибири, отцу было разрешено жить в районе между Качугом и Витимом. Долго он скитался в поисках работы, кормился тем, что чинил по деревням посуду, нанимался пасти

лошадей, помогал местным жителям в уборке урожая, а в длинные зимние вечера, когда на улице трещал жестокий мороз, становился даже сказочником – за умение живо, увлекательно и весело рассказывать получал кусок хлеба и возможность переночевать в тепле. Тут, конечно, выручала давняя привязанность к книгам, в рассказах был удивительный сплав когда-то вычитанного и приукрашенного собственной буйной фантазией...

Скитания продолжались до тех пор, пока не подвернулась удача: взяли масленщиком на пароход «Каролонец». Пароход, принадлежащий богатому судовладельцу, курсировал по широкой, неоглядной Лене. Теперь были постоянная работа и твердый заработок. А главное, пароход – это машина, механизм, это железо, то, по чему скучали руки отца – заводского человека. Летом – в плавании, а зимой, когда «Каролонец» стоял в затоне, Григорий Гаврилович Углов удивлял всех в мастерской умением исполнить любую, самую тонкую слесарную и токарную работу.

Осенью 1889 года «Каролонец» с большим грузом вышел из Витима. Внезапно начались ранние жестокие морозы, по реке навстречу плыла шуга, плицы колес, ударяясь о льдины, ломались, приходилось их чинить в ледяной воде. Ход был медленный, а всем – капитану, механику, матросам – хотелось дойти до Киренска, где жили родные. Но усилившиеся холода остановили реку, заковали ее в ледовый панцирь – помятый, ободранный пароход с большим трудом пробился к пристани Бабошино. До Киренска оставалось пятьдесят пять непреодолимых километров.

Пришлось зимовать в Бабошине. «Каролонец» поставили на прочные балки, ремонтировали, заменяли пришедшие в негодность части, красили... Хотя и долгим был рабочий день, но молодость брала свое, – при первой возможности, особенно по воскресеньям, Григорий Углов с друзьями уходил на гулянье в соседнюю деревню Чугуево.

Вот тут-то я и должен перейти к рассказу о своей матери, сыновнюю любовь и большое уважение к которой не стерли годы.

А рассказ о матери необходимо начать с далеких дней, на событиях которых – ответ самой русской истории...

* * *

По реке Лене, дивясь ее простору и дремучей красоте таежных берегов, плыли на лодке три плечистых синеглазых и русоволосых брата Бабошиных: старший – Афанасий, средний – Иван, младший – Егор. В поисках лучшей крестьянской доли добрались они сюда из полуннищей степной России... Во время ночных стоянок дикие звери непугано ходили вокруг их костра, а братья, еще боясь поверить в свое счастье, подбадривали друг дружку: тут не пропадем, тут жить можно!

Плыли неспешно, приглядываясь, где бы поселиться навсегда, чтобы не только для охоты раздолье нашлось, чтоб хлеб сеять можно было.

Осенью добрались до Киренска. Тут, в четырех верстах, закладывалась деревня Хабарово. Бабошины, мастера на все руки, решив подкопить денег, нанялись рубить, ставить и отделывать избы, и зазимовали здесь. Когда прошумел ледоход, собрались в путь-дорогу, но средний, Иван, заупрямился: крепко держала парня местная красавица. Старший и младший, ругая и жалея Ивана, отплыли вдвоем...

Скоро ль, долго ль плыли, но однажды достигли такого места, которое очень им приглянулось. Небольшая быстрая речушка впадала в Лену, рядом голубело озерцо, где воду копить можно, а кругом нетронутый лес. Братья видели: мельницу поставить – места лучше не найдешь.

По речке жили тунгусы, промышлявшие охотой. Бабошины пошли к ним с поклоном – проситься в соседи.

В большом чуме собрались старики – сидели на оленьих шкурах, важно курили трубки с длинными тонкими мундштуками, смотрели на двух рослых молодых русских мужиков.

– Однако, зачем пришли сюда? Для чего просили собрать старейшин?

– В соседи желаем.

– Однако, что делать будете? Охотой не проживете, надо в тайгу далеко ходить, вы не умеете. А земли – хлеб сеять – нет. Мы зерно охотой зарабатываем, меняем... а вы что?

– А мы хлеб будем мельницей зарабатывать. Построим водяную мельницу, молоть станем – у хлеба без хлеба не останемся.

– Это какая такая мельница?

Тунгусы непонимающе переглядывались, братья – как могли, словами и жестами, – объяснили. Тунгусы наконец поняли, заулыбались, возбужденно заговорили на своем языке. Старшина сказал:

– Польза от вас, однако, есть. Оставайтесь. Будем давать наш хлеб молоть. Руками зерно мелем-мелем, долго, однако! На охоту ходить некогда...

И вскоре потянулись подводы с мешками к Бабошиным, или – как говорили местные – на Бабошиху. Так называли мельницу, речку тоже стали звать Бабошихой, а когда по Лене пошли пароходы, другого имени для пристани не искали: Бабошино.

Так мои прапрадеды (по материнской линии) закрепили в Сибири свою фамилию.

А деда моего – уже внука старшего из Бабошиных, Афанасия, – звали Николаем Петровичем. Он рано остался вдовцом, с двумя малолетними детьми на руках – трехлетним Ефимом и двухлетней Настасьей, моей матерью.

До конца дней своих горевал дед по жене – Варваре Семеновне, и вся любовь тоскующей души была направлена на детей. Из-за них он не женился снова, попросил лишь своего брата Осипа, чтобы днем, когда занят работой, Ефим и Настенька находились бы под присмотром в братниной семье. Несмотря на уговоры Осипа и его жены, он каждый вечер, как бы поздно ни возвращался с поля или из леса, уносил на руках спящих детей в родной дом, говоря, что без них ему света нет.

Хотя и не знал Николай Петрович Бабошин грамоты, но человек был любознательный, впечатлительный – хотел он видеть дальше того, что окружало его, и поэтому в доме деда часто находили уют ссыльные, особенно политические. Совестьливый, он ни в каких делах не шел на обман, на хитрость, и, как ни тянулся изо всех сил, сколько ни работал – бедность не отступала. Забегая вперед, скажу, что «по наследству» перешла она и к сыну, Ефиму. Рано возмужавший в тяжелом крестьянском труде, что только не делал он, чтобы выбиться из нищеты, даже уходил золото мыть на Бодайбинские прииски, но призрачная мечта о сытой жизни так и оставалась мечтой...

А Настенька, на которую отец молиться был готов, как две капли воды походила на свою покойную матушку. Уже с двенадцати лет девочка самостоятельно вела весь дом. Отец с Ефимом уходили корчевать пни, чтобы хоть добавочный кусок пашни отвоевать у тайги, а проворные руки Настеньки то на огороде мелькают, то в хлеву у коровы, то обед она стряпает, пол моет, белье штопает... Остановливавшиеся в доме ссыльные удивлялись: такая маленькая, ребенок еще, и столько у нее забот, и поиграть-то с ровесниками некогда, жалко девочку! Некоторые из них, находившие тут уют и ласковое слово в трудную для себя пору, надолго задерживались, помогая Настеньке, как могли.

Впоследствии мать рассказывала нам про одного из таких – про каторжника Каллистрата.

Двадцать пять лет провел Каллистрат в сыром подземном руднике, прикованный цепью к тачке. Когда пришло желанное освобождение, не мог он уже выпрямиться в полный рост, не разгибались у него и пальцы на руках. Зайдя в ненастный день обогреться, он так и остался в доме Бабошиных навсегда, стал в семье своим человеком. И мать, вспоминая его, говорила: «Каторжником Каллистратушку называли, а добрее человека трудно было сыскать!»

Несмотря на искалеченную жизнь, на болезни, он сохранил ясность души, способность к доброй шутке... Зайдут к повзрослевшей Насте подруги или знакомые ребята, а Каллистрат на глазах у них вдруг вытаскивает из Настиной постели сучковатое полено, говорит: «Капризная царевна заснуть не могла, когда ей под перину горошинку положили, а наша Настенька сегодня на бревне распрекрасно выспалась!» И заливается при этом веселым добродушным смехом, и всем другим весело...

Когда я слушал рассказы матери и отца про людей, подобных Каллистрату, зарождалось во мне желание пристальнее взглянуть в своих земляков, с невольным восхищением думал я о сильном и терпеливом русском человеке, достоинство и доброту которого не могут вытравить никакие невзгоды, самые тяжкие испытания.

С тех пор помнится мне одно стихотворение, неизвестно кем написанное, сложенное, возможно, в народной среде, – о характере истинного сибиряка. При всей непритязательности, внешней простоте этих строк, в них, по-моему, очень верно подмечены и как бы сконцентрированы те душевные и деловые качества, что отличают русского человека:

Смелость, сметливость, повадка
Ездить по стране,
Чистоплотность, ум, приглядка
К новой стороне.
Горделивость, мысли здравость,
Юмор, жажда прав,
Добродушная лукавость,
Развеселый нрав.
Политичность дипломата
В речи при чужом.
Откровенность, вольность брата
С истым земляком.
Страсть горячая к природе
От степей до гор,
Дух, стремящийся к свободе,
Любящий простор,
Поиск дела, жажда света.
Знать: да что? да как?
Стойкость, сердце золотое!
Вот наш сибиряк!

И это – умение с достоинством встретить и вынести любую напасть, желание помочь другим, охота к труду – были в нашей матери. Однако я, кажется, тороплюсь – нужно вернуться к тем дням, когда в деревне, под отцовской крышей, жила работающая, умная девушка Настенька. Впрочем, уже тогда, в семнадцать своих лет, за прилежность, скромность, за то, что с детского сиротского возраста, не жалуясь, а с улыбкой, самостоятельно вела она хозяйство, деревенские величали ее почтительно: Настасьей Николаевной. Даже на молодежных вечеринках парни обращались к ней по имени-отчеству.

Уже взрослым услышал я в деревне рассказ. Может, и ничего особенного в нем нет, так себе, крошечный эпизод, но в эпизоде этом, в том, что через многие годы остался он на памяти чугуевских жителей, ощущалась их уважительность, доброжелательность к Настасье Николаевне.

А дело было так. Чугуевских ребят и девчат пригласили на гулянье в село Горбово – по соседству, за пять верст. В разгар вечеринки вышло какое-то недоразумение, и серьезное:

горбовские парни, всплыв, выскочили из избы на улицу, стали выламывать колья, грозились ножи в ход пустить. Гости же заперли двери на засовы, притаились: в чужой деревне – не в своей!

Выманивали, выманивали горбовские чугуевцев, но те отмалчивались. И вдруг в окно, разбив стекла, влетел конец огромного бревна, со свистом стал ходить по избе – от стены к стене. Ребята разбежались – кто в сени, кто на кухню. Девчата с визгом полезли под стол, под лавки, забились на печь. И только Настенька, выбрав момент, села на разгуливающее, сокрушающее домашнюю утварь бревно, оправила юбку и запела! Бревно вздрогнуло, покачнулось и замерло. За окном грозно спросили:

– Это кто сел на бревно?

– Я, – ответила Настенька и, обращаясь к главарю горбовских парней, шутливо-укоризненно сказала: – Это что ж, Василий Васильич, вы такую игру выдумали? От нее не весело, а один шум. И скучно нам: пригласили, а сами на улице развлекаетесь, гости-то без хозяев – это правильно?

Разбушевавшийся Василий, польщенный вниманием Настеньки, ответил ей вежливо, с готовностью услужить:

– Мы к вам, Настасья Николаевна, завсегда по-хорошему!..

А Настенька в этот момент шепнула своим, чтоб двери открыли, и бояться не нужно, а если не пустить Василия с дружками, они избу по бревнышку раскидают... Василий вошел, сняв шапку, поклонился и, чтобы показать, какие они тут, в Горбове, щедрые, гостеприимные, приказал своим приятелям:

– А ну на стол – конфеты, вино, орехи!

Настенька подругам шепнула: «Пойте!» А сама Василия за руку в хоровод ведет, говорит ему:

– Вино до следующего раза обождет. Попляшем, попоем да восвоеси... С утра молотить, и кони голодные стоят, на них утром работать. Ждем вас у себя, Василий Васильич!

Тот чубатую голову склонил:

– Мы, Настасья Николаевна, с полным нашим удовольствием!..

Уехали из Горбова с миром, а в поле дали волю смеху: покаталась Настенька на бревне! И если б не это катанье, погуляли б колья по спинам чугуевских ребят, и кого-нибудь домой изувеченным повезли...

Вот в ту пору на одной из вечеринок за приметил и полюбил Настеньку с первой же встречи Григорий Углов, гармонист, любитель помериться силой в драке, но и – знали все – мастер «золотые руки», умеющий, как никто другой, работать. Лихо носил он матросскую фуражку, ходил форсисто, дерзко и насмешливо поглядывал на других. Шел ему девятнадцатый год.

Зачастил Григорий в Чугуево! Настеньке тоже по сердцу был этот парень – белолицый, смелый, и лишь не нравилось ей, что охотлив он до пьяных гулянок, дебоширит, уж очень настойчиво, не стесняясь никого, преследует ее, в дом повадился ходить, с Ефимом для этого дружбу свел...

Заслал Григорий, как обычай требовал, сватов, но не тут-то было. Сама Настенька, покоренная преданной любовью Гриши, уже соглашалась на замужество, но отец со сватами даже разговаривать не стал, показал им от ворот поворот. Не мыслил он свою жизнь без дочери, не мог представить даже, что уйдет она из дома, а тут к тому ж и помогает ее пришлый, чужой человек, который, хоть и мастеровой, но от земли далек, катается на пароходе вниз и вверх по реке, и неизвестно еще, куда он увезет Настеньку, будет ли она с ним счастлива... Нет уж!

Три года подряд – осенью, когда «Каролонец» становился на зимовку, и по весне, когда уходили в плаванье, упрямо засылал Григорий Углов сватов в дом Бабошиных. Лицом почернел, про веселые песни забыл и не мог отступиться. Однажды, отчаявшись, пришел к закадыч-

ным друзьям Николая Петровича – Матвеем Лаврентьевичу и Пелагеей Ивановне, сказал, что на колени перед ними упадет, только пусть помогут, сосватают Настеньку, а то уж и жизнь не мила... Но Николай Петрович и тут остался непреклонным, да еще строго выговорил своим друзьям, чтоб не сердили его, ничего с этой затеей не получится.

Однако Пелагея Ивановна, задобренная гостинцами Григория, женским чутьем понимавшая, что при такой пылкой любви дело нужно добром кончать, снова уговорила Матвея Лаврентьевича пойти к Бабошиным. Но Николай Петрович, когда они вошли в дом, на приветствие не ответил, полез на печь, лег там, отвернувшись к стене. Тогда Пелагея Ивановна тоже полезла на печь, повела с хозяином разговор о том, о сем – про цены на хлеб, про диких кабанов, что повадились из леса на огород бегать, урон от них большой, про погоду еще... Николай Петрович тоже понемногу разговорился. А сваха долго искала что-то у себя в карманах, нашла и протянула ему: «Поешь!» – и сама себе в рот положила. Николай Петрович пожевал, спросил: «Ты чего это, кума, чесноком меня кормишь?» – «Иль не вкусно? – ответила Пелагея Ивановна. – Хлебушком нужно заесть. Пойдем к столу». Так спустились с печи.

А за столом, продолжая разговор, Пелагея Ивановна неожиданно сказала: «Дай-ка руку, кум!» Николай Петрович, ничего не подозревая, протянул руку, Матвей Лаврентьевич быстро принял ее, а проворная сваха со словами: «Господи благослови!» – тут же разняла их руки. Николай Петрович на божницу взглянул, а там восковые свечи тихо теплятся. Выходит, ударили по рукам, у него взяли согласие на замужество дочери. «Настасья!» – закричал Николай Петрович таким голосом, что всем жутко стало, и зарыдал безутешно, уронив голову на стол...

* * *

Какие слова нужно найти, чтобы написать о материнской мудрости и материнской любви? Написать *вообще* о матери и, что самое трудное, о *своей* матери, которой обязан всем.

Передо мной – пожелтевшие странички писем былых лет. Вот неровные, торопливо бегущие строчки, выведенные рукой моей двоюродной сестры Ольги, дочери Ефима Николаевича. Женщина в годах, она возвращается памятью в незабываемые дни детства, и главное лицо в ее воспоминаниях – тетя Настасья, моя мать.

«Меня поражала всегда тишина в доме у вас, – рассказывает Ольга. – Никто никогда ни на кого не кричал, никто не плакал, не жаловался. Все шло, как хорошо заведенные часы: тихо, спокойно. Все работали по силе своих возможностей. У старших детей – большие работы, у младших – малые. Если сказали – вычистить двор, его сейчас же чистят, не оставят на потом, никто не убежит к соседям играть... Мои родители нередко посылали меня к куме Настасье, как говорила мама, на исправление поведения. Потом она спрашивала у тети Настасьи: «Ну, как моя дочь себя вела?» А тетя Настасья всегда хвалила меня и удивлялась, почему я непослушная дома. Скажет, бывало, маме: «Ты с ней будь ласковой, она и станет послушна».

Я называю тетю Настасью великой матерью. Сколько лет прошло, а помнится такая картина. Вы тогда жили у тети Нилы, была осень или лето, и мы с братом Колей ночевали вместе с вами. Мы на полу, вы на кровати, а у кровати висит зыбка. Я проснулась от тихого разговора. Тетя Настасья кормила ребенка. Потом она подошла к каждому, поцеловала меня, думая, что я сплю, кому подушку поправила, кому одеяло – ко всем прикоснулась, всех приласкала...»

Сколько волнующих воспоминаний вызывают у меня строчки этого письма! Ведь она, наша мама, совсем не ходила в школу, была неграмотной, но, обладая прекрасной памятью, легко запоминала содержание книг, что читались в доме вслух, неплохо знала историю русского народа, помнила даты важных событий, имена и дела выдающихся людей. Ее суждения были просты, человечны, поражали глубиной обобщений и своей безошибочностью. Особенно близко к сердцу принимала она судьбы своих односельчанок, в разговорах всегда защищала женщин и нам говорила: «Женская доля тяжелая, с положением мужчины не сравнить. Жен-

щина, кроме большой работы, несет на себе заботу о семье, о муже, часто не слыша доброго слова. А даст она волю сердцу – тут ей позор и оскорбления ото всех!»

Однажды, бросив вызов деревенским порядкам, одна наша соседка ушла от мужа к поселенцу из ссыльных. По тем временам это был героический поступок. Вчерашние подруги плевали ей вслед, норовили за волосы ухватить, оскорбляли, как могли... И моя сестра Ася – ей было лет пятнадцать – сказала маме: «Аннушка казалась хорошей, а поступила так, что прощения ей нет!» Мама помолчала немного, словно раздумывая, сможет ли дочь понять ее, и ответила: «А ты, Ася, не чужим словам доверяйся, а сама подумай. Ведь Аннушка, живя с Макаром, ходила ежедневно в синяках, кроме ругани, ничего не слышала. Не жизнь у нее была, а мука. Вот она и потянулась к совестливому человеку... Ты, Ася, подумай!» – «Я поняла, мама», – сказала Ася, опустив голову.

Позже, в 1919 году, хороший знакомый моей сестры попал в колчаковскую тюрьму. Мама напекла пирожков, положила еще кое-что из домашней снеди в корзинку и сказала расстроенной Асе: «Отнеси ему». Сестра, конечно, рада, но все ж говорит матери, как советуется: «Удобно ли? Ведь все будут знать: ходила в тюрьму на свидание с молодым человеком. Что скажут люди? Что он сам подумает?» – «Иди, – поторопила мать. – Лишь бы ты сама и я плохо не подумали. А он будет рад, что ты в беде навестила его, не боясь пересудов...»

Мать, с сочувствием и, как я сейчас могу судить, с большим пониманием относилась к политическим ссыльным, сознавая, что все их «преступления» – от стремления облегчить жизнь народа. Таких же взглядов, конечно, придерживался и отец. И нужно подчеркнуть, что политические, в основном незаурядные, интеллигентные люди, оказывали заметное влияние на местное население...

Хочется привести тут один случай, не очень значительный, но характерный для обрисовки личности политического ссыльного.

Мама и Ася были в лавке. Сестра примеряла суконную жакетку. Асе в ту пору исполнилось четырнадцать, и ей впервые покупали такую дорогую и красивую вещь. Жакетка так понравилась сестре, что она ни за что не хотела снимать ее. А у мамы при расчете, как на грех, не хватало на эту покупку двух рублей, – по тем временам деньги не маленькие. Она уговаривала Асю снять эту жакетку, примерить другую – подешевле, но Ася никак не соглашалась, слезы текли у нее по щекам. И вдруг один из покупателей подошел к приказчику и сказал: «Я доплачу недостающие...» Отдал деньги и поспешил уйти из лавки, так, что мама и поблагодарить его не успела. А приказчик заметил: «Это политический-с!..» И кто-то из покупателей добавил: «Они с себя последнюю рубаху снимут, а помогут...»

Об этом случае не забывали в нашей семье. И мама, рассказывая о нем, давала нам понять: так должны поступать люди, вот вам пример для подражания...

И если тут уместно слово «везение», скажу: моим братьям, сестрам, мне крупно повезло, что наши родители ясно сознавали высокое значение образования, до нужды доходили, но нас, детей, учили, отдавая этому последние силы и заработанные в поте лица деньги. В редкой крестьянской или рабочей семье в те времена было такое. Считалось обычным: три-четыре зимы в школу побегал, писать, считать мало-мальски научился – чего же больше-то! Обувка дорогая, книжки дорогие, и в хозяйстве дел не впрокорот. Девочек вообще в школу не пускали: вначале, подрастая, она по дому помогает, потом и вовсе к мужу уйдет, а чтобы стряпать да детей нянчить, грамота ни к чему... Подобным образом, например, рассуждали в семье наших ближайших родственников – у дяди Ефима, родного брата матери. И я снова сошлюсь на одно из писем Ольги Ефимовны.

«Я расскажу тебе, – писала она с неизбывной горечью, – как, крадучись, стоя за спиной брата Николая, узнала я название четырех букв. Затем он стал учить дальше, и я запоминала другие. А мама, которая категорически запрещала мне смотреть в книгу, видя, что я все-таки учу буквы, стала сажать меня в подпол. Я оттуда хорошо слышала «зубрежку» брата и так,

на слух, выучила азбуку. А написания букв, конечно, не знала. Тайно охотилась за букварем, но мама и Николай прятали его. И особенно – отец. Он сказал маме, что, если я, не дай бог, выучусь грамоте, он приберет ее, а Кольку заберет из школы.

Если мне все ж удавалось на короткое время завладеть букварем, я сломя голову бежала с ним во двор. Во дворе лежала старая таратайка без колес. Я приподнимала ее и ныряла под нее. Сперва ничего не видно – облако пыли окутывало меня, и когда оно рассеивалось, я, скорчившись, жадно разглядывала буквы. К каждой букве была картинка: У («усы»), О («оса»)… Картинки выручали! Дошла, помню, до рисунка, на котором изображен горшок с идущим из него густым паром, и растерялась: что это? – Г («горшок») или П («пар»)?

Писать об этом неприятно, но меня сильно били, а после порки ставили в угол, заставляя при этом держать в руках ухват или веник. Брата выводили к гостям, как будущего кормильца на старости лет, и школьными успехами его хвалились, а меня держали в подполе. Мелькала мысль: бросить все и бежать за тридевять земель из дома. Но я пересиливала себя… Помогли мне ссыльнополитические, жившие в нашей деревне две зимы. В Великий пост родители на семь недель уезжали в село, где была церковь, и я в это время бегала к ссыльным, а они помогали мне усваивать грамоту…»

Даже сейчас, по прошествии длительного времени, это правдивое, выстраданное повествование о судьбе крестьянского ребенка в дореволюционной России оставляет чувство щемящей тоски и боли. Перечитывая письмо Ольги, я мысленно кладу его в томик Чехова, раскрытого на страницах известного всем рассказа про Ваньку Жукова…

К слову сказать, Ольга Ефимовна уже при Советской власти получила неплохое образование. Стала зубным врачом, а кроме того, в ней сказались и способности к литературе. Она опубликовала несколько сборников народных сказок.

* * *

Хоть обещал когда-то Григорий Углов любимой золотые горы – жизнь определяла по-своему. Не помню своих родителей в праздном отдыхе. Главное, что осталось от раннего детства – это дороги, дороги…

Летом, в навигацию, пока отец ходил на пароходе, мы жили в деревне у двоюродной сестры матери, Неонилы Осиповны. Поздней осенью мать обряжала нас в дальний путь, и мы всем выводком отправлялись к месту стоянки парохода. А зимовки каждый год были в разных местах – в Усть-Куте, Витиме, на речке Маме, в низовьях Лены, где-то близ Олекмы…

Такой была жизнь семьи долгое время – с 1890 по 1915 год, пока отец не скопил денег на покупку домика в Киренске. В 1896 году родился мой старший брат Иван, за ним, в 1900 и 1901 годах, – сестра Васса и брат Павел, в 1904 году – я, спустя пять лет – Татьяна, а в 1914 году – Людмила. Всегда у матери, терпеливо следовавшей за отцом к очередному временному месту жительства, всегда был на руках малыш. А надо только представить зимние дороги тех лет, те испытания и лишения, которые ложились на плечи путешественников, особенно из бедной семьи!

У нас еще имелось преимущество: отец был водником, и мы, хоть с трудом, но все же могли попасть на пароход, проходящий мимо. Но для этого приходилось днями ждать на берегу, по-цыгански сидя на вещах, боясь далеко отлучиться.

Как сейчас вижу холодную, свинцового отлива круговерть речной воды, с неба сыплется снежная крупа, и вдруг – чей-то взволнованный голос: «Пароход иде-е-ет!» Мы со своим скарбом грузимся в большую лодку, выгребаем на фарватер реки. Пароход, опасно подбрасывая на волнах нашу лодку, быстро проплывает мимо, и мама жестами тщетно спрашивает капитана прихватить нас с собой… Озябшие, подавленные возвращаемся на опостылевший берег, не

ведая, сколько дней и ночей ждать следующего судна. А где-то переживая, напрасно встречает пароходы отец...

Нередко, прождав несколько томительных дней на берегу, мы возвращались в деревню ни с чем – ни один из пароходов нас не взял, а больше уже не пойдут, река стала... Теперь нужно ждать, пока установится санный путь: поедем на лошадях. Мама вздыхает – дорого, и путешествие трудное, долгое, детей можно застудить, – с нашими морозами да метелями шутки плохи! Но мне да и братьям с сестренками интересно. Сколько деревень проедем, сколько ночлегов впереди, и всюду разные, похожие и непохожие люди – будет чему радоваться и удивляться!

Из-за частых переездов поначалу в школу я не ходил: занимался с братом и сестрой дома. И лишь когда семья осталась зимовать в Алексеевском затоне, приняли меня сразу во второй класс приходской школы деревни Алексеевки, это в четырех верстах от затона. Утром – мороз ли, пурга ли – мы, затонские, бежали учиться, а вечером, в сумерках, торопились обратно. Стужа стягивала лицо, через одежду добиралась до тела. Только бы не сбиться с дороги, не заплутать! Знали мы, как часто замерзают в наших местах заблудившиеся путники... Ласковыми и родными казались притягивающие к себе огоньки пяти затонских изб. Чуть поодаль от них стояли закопченные мастерские.

В самом лучшем доме жил капитан парохода по фамилии Ман, в семье у него было девять девочек и один мальчик. Другой дом занимал помощник капитана. Третий – машинист. В четвертом же половина (две комнаты) была отведена отцу – он тогда служил помощником машиниста; в другой половине жили масленщики, по двое в комнате. В пятом доме – чернорабочие. Тогда-то я и увидел, в каких тяжелых условиях проходила жизнь этих бедолаг...

Работали они много, делали беспрекословно все, что прикажут, ходили в рванье, питались, как арестанты, из одного котла, спали на деревянных нарах, кое-как прикрытых тряпьем. Мало кто обращался к ним по фамилии, еще реже – по имени-отчеству. Звали или по прозвищу, или говорили: «Эй, ты!..» Был среди них пожилой человек с ввалившимися чахоточными щеками, которого называли Оська Трах-бах. Был Николай Гольый, был Алешка Жижа – вялый, с развинченной походкой, неуверенными движениями рук. Может, тут вообще не знали их настоящих фамилий, их прошлого, – никому это и не нужно было. Спустя годы, читая «На дне» Горького, я мог себе сказать: такое я видел. И горьковские Васька Пепел, Клещ, все его босяки – это мои знакомые Оська Трах-бах, Гольый, Жижа...

Кажется, единственный, кто в затоне говорил с ними, как с равными, не подчеркивая своего служебного и прочего превосходства, был наш отец.

Отца мы видели только по вечерам да в воскресенье. На работу он уходил чуть свет. Шаг у него был скорый, стремительный – редко кто поспевал за ним. И хорошо помню руки его: в затвердевших мозолях, шершавые, как рашпиль, но сколько в них было нежности, тепла, когда они прикасались к нам!.. Отец по натуре был мягким человеком, сердобольным, но характер имел сложный, переменчивый, и лишь мамин такт смягчал его внезапную резкость. Случалось, выпивал, однако превыше всего ставил дело – не позволял себе из-за выпивки забыть про работу. При нас, детях, старался не курить, говорил нам: «Я курю с детства. Из-за невежества, что вокруг меня было. Никто не подсказал: брось, мол, не остановил... А вам курить не советую! Но если все ж потянетесь к табаку, дымите при мне, обещаю, что наказывать не стану. Накажу жестоко, если узнаю, что тайком папиросками балуетесь!»

Такой педагогический ход оказался разумным. Никто из детей в нашей семье не стал курильщиком – ни тогда, ни будучи взрослыми. К слову заметить, и сам отец позже нашел в себе силы расстаться с курением. А что курение – большое зло, наносящее непоправимый вред здоровью, я как врач убедился на множестве драматичных примеров. Об этом расскажу в одной из последующих глав...

Отец был, как уже можно, наверно, понять из всего рассказанного, примерным семьянином. Ценил семейный уют, любил что-нибудь мастерить, строить, красить, лепить сибирские

пельмени... За такими занятиями шутил или песни потихоньку напевал, знал их много. Но если уж из-за какой-то помехи вспылит, взорвется, тогда держись! Врезалась в память такая сценка... Отец в хлеву делал загородку для телят, а я помогал ему: доски подавал. Работа подходила к концу, и тут попался брусок из сырого твердого дерева. Гвозди никак не хотели входить в него, гнулись – один, другой, третий... Отец терпеливо разгибал их, брал новые из коробки и так, и этак пытался приноровиться к упрямому бруску. Нет, все то же! И при какой-то очередной попытке, когда гвоздь от удара скрутился чуть ли не в спираль, отец вспыхнул и с яростью стал бить молотком не по гвоздю – по загородке! В минуту начисто сокрушил ее, ругаясь при этом самыми безобразными словами... После же сел на приступок, отдышался, утомился и спокойно, с виноватой улыбкой начал всю работу сначала.

Бранные слова он произносил не часто, только при «взрывах», и ругался, что называется, на ветер, не адресуя их кому-либо конкретно. Мама очень переживала в такие минуты, старалась перед нами оправдать отца, говорила, что это у него от тяжелого детства, оттого, что гнали его по этапу, много издевались над ним...

* * *

...Время, время! Мы оглядываемся назад, на безвозвратно ушедшие годы, – и в наших воспоминаниях возникает самое светлое время – негаснущее детство. Впечатления детских лет самые яркие, глубокие, и они во многом определяют то, какими мы становимся позже, в зрелую пору нашей деятельной жизни... Пишу эти строки, и хоровод трогательных видений мальчишеской поры кружит меня, их много! Что выбрать из них?

Пожалуй, наиболее глубоко запали в сердце четырнадцатый – пятнадцатый годы, как бы слившиеся воедино.

Слепит глаза река, а по ней вверх, к Киренску, плывут пароходы, баржи, мелькают весла, а вдоль берега, по дороге, идут подводы. Великое множество людей! Пьяно, под рыдающие звуки гармоней, несется песня отчаяния: «Последний нынешний денечек гуляю с вами я, друзья, а завтра рано, чуть светочек, заплачет вся моя семья...» Объявлена мобилизация: война с Германией. И черные платки скорбных старух словно угрожающе напоминают: быть беде в каждом доме, быть беде...

А потом она, наша река, ранней весной... Наводнение! Небывалое, такого и самые древние старики припомнить не могли... Гигантский затор льда протяженностью в несколько километров перегородил русло Лены, и буйная паводковая вода, неся поверху громадные льдины, хлынула на деревни, сокрушая избы, вырывая с корнем вековые деревья, срезая, как ножом, возвышенности. Наши дома стояли на круче, и льдины толкались буквально о порог, кипящие брызги летели в окна. Алексеевцы срочно собирали вещи, увязывали в узлы. Гнали скотину в лес, в горы... Со страхом и одновременно с восторгом смотрел я на разбушевавшуюся стихию: какая силища, какой простор!

Вперемежку со льдинами неслись печальные останки смытых поселений: звенья срубов, обломки изгородей, вздутые туши коров, кухонная утварь. Проплыл чудом уцелевший сарай с живым петухом на крыше... И вдруг увидели мы: на очередной громадной льдине едет скособоченная изба, а возле нее в тоскливой обреченности стоят маленького роста человек и собака. Ближе они, ближе... И хотя это грозило великой опасностью, лодку могло опрокинуть, затереть льдами, ударить о бревно, залить студеной водой, наши мужчины решили помочь несчастной (уже видели, что это девочка лет двенадцати). Я в последний момент изловчился и прыгнул в отходящую лодку.

Мы боролись с течением, отпихивали от бортов ледяные глыбы, а они таранили нас. Было жутко, но мы, трое мужчин и мальчик, могли надеяться лишь на себя. После, ночами, бессонно лежа с открытыми глазами, я восстанавливал подробности нашего поединка с бушующей

щей стихией, и сладостное чувство победы, обретенной в суровой борьбе, впервые затронуло мое сердце...

И запомнилось, как в тот день возбужденно хватал всех за руки ссыльный поселенец из политических, как сияли его глаза при виде могучего половодья, и сколько порывистой страсти было на его худом, с рыжеватой бородкой лице, – не забыть! Весело, убежденно говорил он, стараясь пересилить грохот реки:

– Так же неудержимо движение народных масс, товарищи! Мы увидим ее, революцию!

Глава 3

Перед большой дорогой

Революция пришла в одноэтажный Киренск без выстрелов, как праздник. Митинги, горячие речи, красные флаги...

Фабрик и заводов, кроме царского водочного заводика, у нас не было. Крупные богатей жили далеко, в Иркутске, а мелкие торговцы-лавочники благоразумно отсиживались за прикрытыми ставнями, по-обывательски выжидая, что же будет дальше.

Три торжественных слова громко звучали на киренских улицах: свобода, равенство, братство! Особенно радостно было слышать и повторять их еще и потому, что в памяти многих не заглохло эхо недавнего кровавого события – Ленского расстрела. Ведь Бодайбинские золотые прииски находились всего в четырехстах километрах от нас, и среди раненых, убитых, среди тех, кого после бросили в тюрьму, были родные и знакомые киренцев.

Оказалось, что в нашем городке долгие годы подпольно действовала большевистская организация, в состав которой входили ссыльные и передовые рабочие, учителя и служащие. Многие из них были удивительно молоды, как, например, наш восемнадцатилетний секретарь райкома партии Иван Васильевич Соснин, в то время, пожалуй, самый авторитетный человек в Киренске. Он и поныне в моей памяти, порывистый в движениях и твердый в словах, умевший не только говорить, но и слушать. Из его уст на общегородском митинге я, тогда мальчишка, впервые услышал имя – Ленин.

Время, что и говорить, было бурливое, волнующее и опасное, особенно в те годы, когда на вершинах сопок и у города замаячили казачьи кони колчаковских разъездов... В нашей семье не утихала тревога за отца и брата Ивана. Хотя официально они и не состояли в коммунистической партии, но их сочувственное отношение к большевикам было всем известно.

О политических настроениях отца говорят, в частности, следующие строки из письма двоюродного брата Коли Бабошина. Он пишет: «Я очень любил дядю Григория и тетю Анастасию. Дядю Григория видел в последний раз в Киренске в 1919 году летом. Тогда меня мобилизовали и везли колчаковцы. Я забежал к нему с парохода. Дядя Григорий взял меня за плечи и сказал: «Коля, убегай из этой гнусной армии при первой же возможности». Я ему обещал и, как только заехали за Кочуг, убежал в числе первых. Наказ дяди Григория выполнил».

Однажды брат Иван лишь по чистой случайности остался в живых.

... Тысяча девятьсот девятнадцатый год. Киренск занят белыми под командой полковника Еркамошвили. В городе введен комендантский час, по улицам ходят военные патрули, полевые орудия и пулеметы грозно нацелены на другой берег Лены – на ремонтные мастерские затона, на деревни Мельничная, Воронино, а также на деревню Бочкарево, расположенную вдоль реки Киренги. Там всюду большевики, их вооруженные отряды. Белые настроены нервозно, над каждым, кто кажется им подозрительным, вершится скорый суд и жестокая расправа...

В четырех километрах от города, в деревне Хабарово, тайно собрался крестьянский сход. Обсуждали один вопрос: как помочь красным? С деловыми предложениями выступил на сходе двадцатитрехлетний учитель Иван Григорьевич Углов... Разошлись, как и собирались, в полной темноте, а на рассвете в Хабарово ворвалась полурота белых. Потом узнали: на сходе незамеченным присутствовал переодетый офицер из семьи киренских мещан. Он немедленно доложил полковнику, что подстрекаемые учителем Иваном Угловым хабаровские мужики готовят лодки для красных.

Брат ночевал на сеновале. При аресте обнаружили у него браунинг, заставили одеться, и в сопровождении конвоя он был доставлен в штаб. Допрашивал его сам Еркамошвили. Полков-

ник, как ни странно, был по образованию врач, но, видимо, забыл об этом – отличался жестокостью, кровь и страдания несли с собой его казачьи сотни. Он со своей частью уже однажды стоял в Киренске, потом ушел вниз по Лене, к Бодайбинским приискам, но, потрепанный в боях с красными партизанами, вновь вернулся сюда с надеждой пробиться в Иркутск. Полковник задал брату два-три малозначащих вопроса и сказал, что за сопротивление правительственным войскам, агитацию в пользу красных он приговаривается к расстрелу! Два казака-урядника тут же встали за спиной Ивана. Он мысленно простился с белым светом...

В этот момент в комнату вошла молодая женщина. Случайно взглянув на брата, она воскликнула: «Ваня, а ты что здесь делаешь?!» Обняла, стала расспрашивать... Это была близкая подруга сестры Аси Шурочка Попова, дочь местной жительницы и политического ссыльного-грузина, из соображений конспирации принявшего фамилию жены. Шурочка, оказывается, недавно вышла замуж за полковника Ермамошвили, чего брат еще не знал.

Перейдя на грузинский язык, она стала что-то объяснять мужу, но полковник сердито отвечал: «Нет, нет!..» В это время в штабе появились уважаемые в округе крестьяне: узнав, что учителю Углову грозит расстрел, они составили прошение о помиловании, от имени нескольких деревень поручились за него. Полковник, прочитав бумагу, стал кричать на них, но, опомнившись, быстро взял себя в руки: положение было такое, что с местными жителями, особенно деревенскими, приходилось считаться. И Шурочка продолжала настаивать...

– В сорочке родились, молодой человек, – раздраженно сказал брату Ермамошвили. – Из дома не выходить, по вечерам вас будет проверять патруль. А мы тут посоветуемся...

Еще два раза арестовывали в ту пору брата, и при последнем аресте повезли его под стражей в Иркутск, но в дороге стало известно: Колчак разбит! Стражники из «добровольцев» разбежались по своим деревням, а брат и другие арестованные невредимыми вернулись домой.

На восемь лет был старше меня Ваня, мы, младшие, обязаны ему многим. Романтик по натуре, преданный революционным идеям, он всегда был для нас примером: вот как нужно жить и работать для общего народного счастья! Отказавшись от выгодных предложений, он поехал простым учителем в самое глухое, отрезанное бездорожьем место: учил грамоте крестьянских ребятишек, был пропагандистом народной власти. Сотни учеников Ивана Григорьевича, дети и внуки этих учеников трудятся сейчас в разных уголках страны, а сам он, после более чем полувекового учительствования, ушел на пенсию в семьдесят пять лет, отмеченный высокой наградой – орденом Ленина.

Он всем нам привил жажду знаний, а Советская власть дала возможность учиться. В результате все мы, дети малограмотного рабочего и неграмотной крестьянки, получили высшее образование, а сестра Таня стала профессором, заведующей кафедрой глазных болезней. Ей передались золотые руки отца. С редким искусством производит она сложнейшие операции на глазах. Отличается большой добротой души, завидной волей и самостоятельностью.

Именно пример брата, его влияние сыграли главную роль в судьбе моей старшей сестры Аси. Окончив гимназию в 1918 году, набрав чемодан книг, она бесстрашно поехала учительствовать в такое далекое село, где школьных учителей никогда и в глаза не видели, где вечерами еще сидели при лучинах и чужих людей встречали редко, при этом словно бы даже удивлялись, что где-то может быть совсем иная жизнь. Больше недели плыла она с провожатыми по несудоходной Киренге на узком неустойчивом стружке к месту назначения – в деревню Ключи (ныне Казачинско-Ленский район).

Рассказываю об этом, полагая, что хотя моя книга о труде хирурга, но хирург – человек со своим характером, взглядами, убеждениями, которые отражаются на его работе, и чтобы понять их, нелишни, по-моему, некоторые жизненные подробности, тем более что наше поколение несет на себе как бы отблеск тех суровых незабываемых дней. По существу, тогда закладывался он, наш характер...

В четырнадцать лет я остался в семье старшим среди детей, и поскольку мать тяжело хворала, а отец с утра до вечера был на работе, нелегкие домашние заботы легли на мои плечи. Зимой в легком пальтишке, в ветхих солдатских ботинках, таких, что подошвы ног примерзали к подметкам, я колол дрова, топил печь, с тяжелыми санками, на которых стояла бочка, ездил на реку за водой, – туда под гору, а обратно наверх, по скользкому льду...

Перед мысленным взором проходят картины детства. В сорокаградусный мороз или пургу, по крутому взвозу, занесенному снегом, напрягая силы, тяну я обледенелые санки, на которых стоит тяжелая бочка с водой. Я тяну санки рывками, отчего вода все время расплескивается, делая дорогу еще более скользкой. В одном месте я не удерживаю санки, они катятся вниз, и бочка опрокидывается, превращая скат в сплошную ледяную гору. Закоченевшими руками водворяю бочку на место и вновь направляюсь к проруби.

Сколько раз падала, обдавая меня студеными брызгами, проклятая бочка! Подниматься же с ней от реки нужно было не раз и не два – вода требовалась для семьи да еще для коровы.

В то голодное время, когда лавки закрылись, когда паек отец получал скудный и нерегулярно, корова была нашей спасительницей. Трудно было содержать ее, но и без коровы, особенно с малышами в семье, хоть пропадай! А как переживали за нее! Грянут жестокие морозы: как она там в хлеву? Кончится сено: где взять, чем кормить? И постоянное опасение было: сколько лихих людей развелось – уведут буренку со двора... По ночам с фонарем выходили смотреть: цела ли?

Летом же нужно было ехать в какую-нибудь дальнюю деревню – зарабатывать сено. Изъеденный в кровь гнусом, который в наших краях не давал жизни ни животным, ни людям, я косил, сгребал сено, возил его и помогал метать зароды.

Помню, как отправился в одну из таких заготовительных экспедиций по горной, порожистой Киренге за двести верст от дома, в деревню Вилюево... Птицей летел по бурной реке наш стружок – лодка, выдолбленная из целого дерева, легкая, но вертлявая, такая, что гляди в оба. Стоишь в ней с шестом в руках, и одна забота: не перевернуться бы, на мель не наскочить, на камень не налететь. Это – когда вниз, по течению. Если же против течения, с грузом к тому ж, – тут семь потов с тебя сойдет, нужно в совершенстве владеть искусством, как говорили у нас, ходить на шестах.

Во время стоянки я взобрался по крутому берегу наверх и замер, пораженный увиденной картиной! Синяя тайга оставалась справа, а впереди, в ярких цветах расстилалась равнина, залитая солнцем, как сказочный ковер она была брошена к подножию седых гор, четко выделявшихся на фоне ясного неба. Казалось, побеги сейчас по этой цветущей равнине – мои спутники не успеют чай на костре вскипятить, как я буду у горного хребта...

– Байкальские горы, – выслушав мои восторженные слова, пояснил шедший с нами на стружке местный крестьянин. – Однако, паря, бежать до них утомительно: триста верст с гаком будет. Кое-кто из наших зимой туда за соболем ходит.

Позже пришлось мне уехать из сибирских мест навсегда, увидеть разные края – юг и север, наши советские республики и заморские страны, многое меня восхищало своей красотой и неповторимостью, но где бы ни был я, где бы ни жил – любой чарующий пейзаж невольно сравнивал с сибирским, людей – со своими земляками, и выходило так: у вас хорошо, спору нет, но вы у нас побывайте! А у нас – это в Сибири.

* * *

В 1923 году я закончил учительскую семинарию, что примерно соответствует нынешней десятилетке. К этому времени детская мечта стать врачом оформилась в твердое решение: другого пути быть не может.

В сумерках, не зажигая света, мы сидим с отцом за столом, его руки устало лежат на скатерти, тяжелые, широкие в ладони, с расплюснутыми работой пальцами, темные от въевшейся в них металлической пыли. Я смотрю на них, слушаю глуховатый, раздумчивый голос.

– Мне все труднее кормить семью, Федя. Но если хочешь в университет, не препятствую. Одного боюсь: как учиться-то будешь, я помогать тебе не смогу. Был, Федя, конь, да, как молвится, изъездился. Рассчитывай только на себя.

– Папа, я справлюсь, – отвечаю ему, а горло сдавлено волнением и жалостью. – Справлюсь!

– Загадывал, что пойдешь ты работать, – говорит он. – Сразу бы нас двое, работников...

– Не могу без того, папа, чтоб врачом не стать...

– Тогда с Богом. – И его ладонь тихо ложится на мою руку. В этом жесте все – одобрение, понимание, прощение, отцовское благословение.

Через день, получив от отца бесплатный билет водника для проезда в Иркутск, с испеченными мамой подорожниками в котомке я отправился в путь. До Иркутска от нас насчитывалось тысяча сто километров. Сначала четверо суток на пароходе до Усть-Куты, затем столько же до Жигалово, а отсюда предстояло путешествие по Лене до Качуга на большой лодке, прозванной шитиком. Вверх по течению ее тащит идущая берегом пара сильных коней. Лошади перекладные – через каждые тридцать километров их меняют. Шесть суток потребовалось, чтобы наш шитик, одолев сто шестьдесят километров, причалил к качугской пристани. Хорошей была эта дорога для меня: новизна впечатлений, поразительная красота диких ленских берегов, ночевки у костра, разговоры со многими людьми и не покидающее ощущение, что с этого момента круто меняется вся моя жизнь.

Качуг встретил дождями, грязь здесь была такая густая, что, того и гляди, сапоги в ней потеряешь. До Иркутска от Качуга ходили обозы – иного транспорта не знали. Но мы, на наше счастье, застали тут грузовые автомобили, – наверно, одни из самых первых в Сибири той поры. Сейчас новым космическим кораблям, пожалуй, не удивляются так, как дивились в сибирских деревнях этим грузовикам! Раскрытые рты, испуг, удивление на лицах людей. Коровы, слышав рев моторов, очумело неслись от дворов куда попало, лошади рвались из оглобель, опрокидывали телеги. Все это я видел, сидя в кузове машины, радостный, несмотря на сумасшедшую тряску и то, что был весь заляпан дорожной грязью: то и дело приходилось соскакивать, подталкивать грузовик, подкладывая под его буксующие колеса жерди и доски.

На двадцать второй день пути я прибыл в Иркутск. Город поразил меня многоэтажными зданиями, широкими мощеными улицами, огромным количеством спешащих куда-то людей и множеством извозчичьих пролеток. «Ну, брат, – сказал я себе, – не пропасть бы!..»

Глава 4

В студенческие годы

На удивление мне, председателем приемной комиссии оказался Иван Васильевич Соснин, бывший киренский партийный секретарь. Вряд ли он знал меня, но фамилия Угловых ему, конечно, была известна, и в том, что я сравнительно легко стал студентом, сыграло свою роль мое социальное происхождение. Вместе со мной на факультет пришли парни и девушки с заводов, фабрик, из деревень. Много было демобилизованных красноармейцев. Их потертые шинели, фуражки со звездочками, островерхие буденовки словно бы еще отдавали горьковатым пороховым дымом, напоминали о вчерашних смертельных боях на фронтах гражданской войны.

А профессорско-преподавательский состав был, естественно, прежним. И хотя преподаватели утвердились в своем мировоззрении еще в предреволюционные годы, большинство из них действительно хотели помочь нам приобрести знания, но все же мы, пролетарская молодежь, долго ощущали отчужденность многих из них, граничащую чуть ли не с брезгливостью. Привыкшие к прежней студенческой аудитории, они иронично, а порой с нескрываемым презрением смотрели на нас, одетых в домотканые рубахи, гимнастерки и тяжелые сапоги, и, конечно же, особенно на первых порах, речь наша была груба для их слуха, а манеры – неуклюжи и резки...

Вот почему, учитывая сложность университетской обстановки той поры, партия посылала сюда опытных коммунистов, таких, как Соснин. Отстаивая и проводя в жизнь партийную линию, они в своей работе опирались на авторитет и поддержку лучших представителей профессуры, которые без предубеждений отнеслись к новой власти, сочувствовали ее начинаниям и преобразованиям.

Но вместе с ними в университет попадали и дети торговцев, мелких промышленников, а то и крупных богачей. Быстро ориентируясь в обстановке, они поступали куда-нибудь рабочими и через год-два шли в университет под именем «рабочие», хотя вся сущность их оставалась мелкобуржуазной. Подделываясь под рабочих, они сыпали грубости, ругательские слова, приводя в смущение не только девушек, но и мальчишек из подлинно рабочей среды. Они были все «сверхреволюционными». Вежливость, природную русскую застенчивость они высмеивали как пережиток старого, а хамство и ругань выдавали за «пролетарский дух». Мы их долго не могли раскусить.

У нас, на медицинском факультете, заинтересованно, уважительно относясь к нам, читали лекции и вели занятия крупные ученые того времени: анатом Бушмакин, блестящие хирурги Сапожков и Щипачев. У каждого из них был свой характер, свои особенности и даже свои профессорские причуды, но всех их роднила преданность науке, желание учить молодежь, стремление подготовить для России как можно больше высококвалифицированных врачей.

Особой любовью пользовались лекции по зоологии и сравнительной анатомии Владимира Тимофеевича Шевякова. Их слушали, затаив дыхание, не только студенты первых курсов, которые проходили этот предмет, но и медики старших курсов и даже врачи. Это объяснялось не только тем, что лекции были блестящие, но и обаянием личности самого профессора. Он свободно владел основными иностранными языками, совершил кругосветное путешествие, бывал много раз в заграничных командировках. И весь этот богатый материал он использовал на лекциях, сопровождая их цветными рисунками, которые развешивал на стенах, или непосредственно рисуя на доске разноцветным мелом. Он страстно любил свой предмет и очень сердился на того, кто на экзаменах знал его плохо. Зато хорошие ответы приводили его в

искренний восторг. Помню, выслушав мои ответы на экзамене, он встал, пожал мне руку и очень тепло поблагодарил за, как она сказал, «глубокое понимание вопроса».

Он, как и многие крупные ученые, имел некоторые странности. Он, например, не любил, когда его называли «товарищ». Обычное его обращение – «коллеги» или по имени и отчеству. И любил, чтобы к нему обращались так же. Один студент однажды на вечере в присутствии большого количества людей произнес подчеркнуто громко: «Товарищ Шевяков!» Ученый посмотрел на него сквозь пенсне и сказал: «Коллега! Я один раз в жизни был товарищем, когда при царе исполнял обязанности «товарища министра просвещения» (товарищ министра – эта должность соответствует ныне заместителю министра). Ретивый студент поднял шумиху, побежал в губком и т. д. Когда сообщили в Москву, то получили примерно такой ответ: «Прекратить. Это большой ученый, хотя и со странностями». Его приглашали работать в Англию, Италию, Германию, но он отказался, заявив: «Я русский и знания передам только русским. Мой сын, подававший большие надежды как ученый, погиб в Иркутске, и я буду работать в Иркутском университете до моей смерти».

И он действительно через несколько лет умер в Иркутске. Ему как истинному патриоту, как крупному ученому России были отданы большие почести. Чуть ли не весь город пришел хоронить его, заполнив все центральные улицы. Хоронили не только студенты, но и весь народ, отдавая должное своему славному сыну...

Казалось бы, скучная дисциплина – анатомия, а на лекции профессора Бушмакина, которые он читал для нас, приходили студенты выпускных курсов и даже врачи. Тесно становилось в аудитории, яблоку негде было упасть, локтями не двинешь, сжали со всех сторон, кто-то горячо дышит в затылок... Особая привлекательность этих лекций была в том, что профессор приносил с собой остроумно изготовленные им самим наглядные пособия. Так, объясняя тему «Проводящие пути мозга», он пропускал тонкие бечевочки через нарисованные крупным планом срезы головного и спинного мозга на различных уровнях, указывая центры, через которые они проходят. Тут уж можно было уяснить и осмысленно запомнить, а не механически зазубрить, что такое, например, «трактус-кортико-понтико-церебелло-дентата-рубро-спиналис».

Он очень умело вел групповые занятия в анатомическом зале. Каждый студент должен был тщательно отпрепарировать какую-то одну часть тела, но обязан был хорошо знать и другие, которыми в этот момент были заняты товарищи по группе. Все вместе, помогая друг другу, мы вечерами подолгу задерживались в анатомичке, и когда учеба на трупах подходила к концу, экзамен был сдан, профессор Бушмакин обязательно фотографировался с каждой группой отдельно. Эти фотографии мы, его бывшие студенты, храним, как реликвию.

Запомнился профессор Щипачев, его высокая требовательность к проведению асептики при операциях. Больного тщательно мыли, закутывали в стерильные простыни и в таком виде ввозили в операционную. Здесь начинался целый ритуал, разработанный в подробностях: скрупулезно подготавливалось операционное поле, целая система щеток и разные антисептики пускались в ход при мытье рук... Сам хирург был молчалив – ни единого лишнего слова! И если вдруг он начинал тихонько напевать, мы понимали: профессору трудно...

Профессор Топорков часто любил повторять: «Что на мне нет белого жилета, я могу сказать. Но что у меня нет наследственного сифилиса – этого сказать не могу». В своих увлекательных лекциях он доказывал, что врожденный или приобретенный сифилис лежит в основе многих нервных заболеваний. Его лекции были хороши тем, что в них выявлялись слабые и сильные стороны противоположных методов и направлений, – они будили мысль, звали к самостоятельному поиску правильного решения.

В клинике нам пока ничего не давали делать самим: смотрите, вникайте! А нам представлялось: возьмем нужный инструмент, и пойдет дело... И когда выпадала такая возможность, откуда только брался страх, в мгновение забывались все наставления, руки не слушались, не

хотели делать того, что приказывала им голова. Нужно было учиться, учиться, и каждый день, проведенный под руководством ассистентов в клинике, был желанным.

Мучила латынь. Почти никто из нас, поступивших на медицинский факультет с рабфаков или приехавших из глухой провинции, латинский язык до этого не изучал. Сколько упреков было услышано нами, когда начались занятия по фармакологии и рецептуре!

Но уже первые месяцы, проведенные в университете, сделали нас во многом другими: более собранными, уверенными. Мы поняли, что, учась на врача, нельзя разбазаривать дорогое время – только занятия, только книги...

Не нужно, разумеется, думать, что не было у меня радостей, развлечений – все было! Однако в то горячее время, когда восстающему из разрухи молодому Советскому государству, как никогда, требовались свои надежные специалисты, мы сознавали: именно на нас очень надеются, нам строить социализм. Мы были чертовски боевыми, настырными ребятами: учиться – до темноты в глазах, спорить на диспутах – пока глотку не сорвешь, песни петь – пока все они не будут перепеты!

Хотя и голодно жили, но без уныния – с комсомольским задором. Стипендия была маленькая: на первом курсе – шесть рублей в месяц, на втором – восемь, а одни талоны на скудное месячное питание в студенческой столовой стоили четыре с полтиной. Повозишь ложкой в тарелке и вздохнешь тут же: то ли ел, то ли это показалось...

В Иркутске жила Ася, моя сестра, была она замужем за бывшим киренским фельдшером Алешей Шелаковским. Теперь Алеша тоже учился на медицинском факультете. Вместе кое-как перебивались. Да брат Иван, учительствовавший в деревне на Лене, раза два за зиму присылал немного денег. Голова от недоедания частенько кружилась, но все ж терпимо было.

Снимал я небольшую проходную комнатку у тихих, не мешающих моим занятиям людей, а соседом по квартире был работник милиции Гаврилов – человек начитанный, преданный своей опасной (особенно по тем временам) профессии. Бывал он в частых перестрелках с контрабандистами, проникавшими на советскую территорию через китайскую границу, бесстрашно ходил на обследование многочисленных в Иркутске той поры воровских и прочих притонов. Вспоминаю его потому, что однажды он предложил мне пойти вместе с ним к наркоманам.

– Тебе, Федор, как будущему медику, полезно на них посмотреть...

В ночной час мы свернули с широкой центральной улицы на узкую боковую, по ступенькам спустились к закрытой двери полуподвального помещения. На вопрос, кто стучит, заданный по-китайски, Гаврилов тоже по-китайски отозвался: «Четырехглазый». Нас тут же впустили. Оказывается, за круглые очки обитатели притонов окрестили милиционера Гаврилова «четырехглазым». В нос ударил тяжелый запах гнили и застоявшейся сырости. В огромной комнате плавал сине-желтый ядовитый дым, приглядевшись, я увидел много людей, в разных позах сидящих и лежащих на захламленном полу. Кое-кто из них спал, кое-кто бредил, бормоча непонятные фразы, другие с тупой полусонной отрешенностью смотрели перед собой и – было видно – ничего не замечали. Иные же с блаженным выражением на лице курили длинные глиняные трубочки, наполненные гашишем. Как после объяснил мне Гаврилов, за шепотку гашиша, вот за такой миг – посидеть с заветной трубкой во рту – тут готовы на любое, самое тяжкое преступление. Порок затмевает разум.

Среди всех особенно жалкий вид имели женщины, опустившиеся вконец, утратившие человеческий облик... Хозяин притона – толстый, с длинной черной косой и заплывшими глазками китаец – подобострастно отвечал на вопросы моего спутника. Гаврилов подошел к одному из обитателей подвала и попросил снять рубаху. Тот, хотя и неохотно, но снял ее. Страшное зрелище представляло собой его тело, сплошь покрытое гноящимися струпами. Это был морфинист, сам себе делающий уколы морфия. Так как при уколе шприц и игла, руки и тело не дезинфицировались, тут же возникало нагноение. Нагноения захватили спину, грудь,

плечи... Еще ужасней выглядели у него ноги от паха до лодыжек – на них были огромные, незаживающие язвы. Зачастую морфинисты, подгоняемые нетерпением, вводят себе морфий прямо через одежду, не выбирая, где на теле здоровое место, где рубцы и струпья...

Гаврилов попросил снять кофточку молодую, но изможденную, с потухшими равнодушными глазами женщину, и она безропотно, без признаков смущения обнажила тело. Та же мрачная картина – язвы, сочащийся из-под струпьев гной... Мы осмотрели еще несколько человек, и я подметил: Гаврилова здесь слушаются, даже уважают и боятся, и нет у них ни сил, ни желания к сопротивлению.

На улице я вдохнул полной грудью свежий воздух, дышал и не мог насытиться. Гаврилов сказал мне:

– Скоро одним махом прикроем все притоны, но наркоманию сразу, конечно, не пресечем. Тяжелое наследие оставлено нам, и нужно лечить, лечить! Вы, врачи, Федор, должны многое сделать.

Потом спросил:

– Подгорную улицу знаешь?

– А что там?

– А частушку слышал?

По Подгорной я иду,
Сворочу налево,
Ко милашечке зайду —
Кому какое дело!..

– Много разных песенок, – заметил я.

– А знаешь ли ты, что до революции на Подгорной чуть ли не у каждого дома красный фонарь висел?

– Вы меня извините, – сказал я, – у нас, в Киренске, красные фонари не горели, я не знаю, для чего их вешают...

– Святая наивность! – Гаврилов засмеялся. – Такой фонарь – знак публичного дома. И хоть сейчас фонарей не увидишь, публичные дома кое-где в городе содержатся. Опытные вербовщики ловят для них малолетних девушек, молодых женщин, попавших в беду... Удивлен? Вот и знай, какая громадная работа предстоит по оздоровлению общества. Уставать некогда, Федор! Зато завтрашний день будет светлым и чистым!

Мне неизвестно, как в дальнейшем сложилась судьба Гаврилова, но ярко запомнился он – один из энергичных тружеников первых лет Советской власти, посвятивший свою жизнь борьбе с самым темным и гнусным, что выплеснул на городские окраины, как накипь, погибающий капитализм.

* * *

Зима в Иркутске лютая – трескучие морозы, затяжные метели. Пообносившийся, одетый легко, бегал я на занятия рысдой. В аудитории, когда занимал свое место, долго дул на пальцы, они не слушались, не могли карандаш держать, а ноги нестерпимо кололи тысячи острых холодных иголок... С Алешей Шелаковским решили: как только сдадим весенние экзамены, поедem на реку Лену зарабатывать деньги на одежду и обувь.

Так и сделали... После утомительного пути до Качуга, отдохнув ночь, пошли искать себе работу. Алеше повезло сразу: его приняли на должность приказчика на торговый паузок (особой постройки карбас с высокими бортами и крышей), он мог теперь спокойно и безбедно плыть до Киренска. Мы попрощались с ним, и я уже в одиночку продолжал толкаться среди

пристанского люда, узнавая, где какие работники требуются. Выяснил, что самое подходящее для меня – наняться на сплав груженных карбасов.

Карбас – это нечто среднее между плотом и баржой. Квадратной формы, он сделан из толстых досок, ширина его семь-восемь метров, длина двенадцать – четырнадцать. Борта в нижней части обшиты толстыми бревнами, чтобы судно не боялось нечаянных ударов, а сбоку от карбаса, удерживаемая канатами, плывет по воде плица – полуметровой ширины доска в двенадцать метров длиной. Это – приспособление для снятия карбаса с мели. На таких карбасах в пору весеннего половодья сплавлялась основная масса грузов для снабжения населения Ленского бассейна. Работа на них под силу лишь крепким, выносливым людям.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.